

Письма Н. И. Пирогова к А. А. Пироговой

№ 1

[18]54. Октября 29. Пятница [Москва]

Милая Саша, пишу тебе от Лизы, которая собирается в С.-Петербург, но которой я отсоветываю; не знаю, послушается ли Н. П. Волков, спасибо ему, распорядился прекрасно, так что тарантас уже нанят и я сегодня же часов в 7—8 вечера отправляюсь далее с Сохраничевым. Поблагодари от меня г. Волкова. Отъезжаю от Иноземцева, отобедав у Павла Петровича. Дорогу, слава Богу, сделали порядочно и чрезвычайно спокойно в семейном отделении. Один болтун только, который, несмотря на свои 50 лет, толковал только о девках и пакостях, надоедал мне по милости Витгенштейна, который его затащил к нам.

Прощай, береги себя, будь здорова, целую детей.

Благословляю и целую вас всех. Твой.

№ 2

Среда. 2 ноября [1854 г.]. Харьков. 11 часов вечера

Только что сейчас приехали и чрез два часа уезжаем. Дорога от Курска, двести верст, ужаснейшая: слякоть, грязь по колени, но вчера сделался вдруг вечером мороз при сильнейшем ветре, так что зги не было видно, и мы принуждены были остановиться на 5 или 6 часов на станции в одной предгадчайшей комнате. Я еще не брился, не мылся и не переме-

нял белья с Петербурга. Все, слава Богу, здоровы и веселы; у Обермиллера была нога стерта, так что чуть рожа не прикинулась; у Калашникова мальчики в глазах прыгали; но все это миновалось. Прощай, душа, целую тебя: теперь напишу уже из Севастополя [...].

Твой навсегда.

№ 3

Екатеринослав. Пятница. 6 ноября [1854 г.]. 12 часов утра

Наконец дотащились до Екатеринослава. Дорога от Курска, где шоссе прекратилось, невыразимо мерзка. Грязь по колени; мы ехали не более 3 и даже 2 верст в час, шагом; в темноте не было возможности ехать, не подвергаясь опасности сломить шею, и потому мы принуждены были оставаться по 6 часов на станции, пока темнота проходила. Нас застал на дороге около Белгорода жесточайший ураган, который был также, как я слышу, и в Севастополе.

Не знаю, когда-то доедем; грязь и здесь ужаснейшая. Мы едем трое в тарантасе. Калашников с вещами в телеге следует позади; ось у телеги переломилась, ее подлец ямщик навел, я думаю, нарочно на сугроб и свалил в канаву. Мы до сих пор все, слава Богу, здоровы. Здесь надобно купить кое-что и именно большие мужицкие или охотничьи сапоги; говорят, что в Крыму несосветимая грязь.

Что ты делаешь, моя душа, здорова ли, здоровы ли дети? Целую вас всех всякий день заочно. Прощай. Кланяйся Маше и всем нашим. Теперь напишу уже из Севастополя.

Погода переменчива; вчера было так тепло, что я уже хотел вынуть шинель, а сегодня опять холодно. Надобно сказать Антонскому, что почты между Харьковом и Екатеринославом в самом жалком состоянии. Вчера мы на одной станции взяли курьерских лошадей; не нашли ни смотрителя, ни помощника, ни ямщика, подорожную не вписали в книгу, прогонов не заплатили, потому что некому было платить, и уехали (эта станция называется Константиноград) [...].

Прощай еще раз. Целую тебя и детей.

№ 4

14 [ноября. 1854 г.]. Севастополь. Воскресение

Приехал в Севастополь 12 числа и спешу тебя уведомить, милая Саша, что, слава Богу, жив и невредим. Подробное письмо начал было писать вчера, но не успел окончить; завтра едет фельдъегерь, а мне некогда; с 8 часов утра до 6 часов вечера остаюсь в госпитале, где кровь течет реками, слишком 4000 раненых. Скоро поеду в Симферополь навстречу сестрам милосердия; устал, лежу и пью чай; погода сегодня, как в августе или в конце июля у нас, но зато вчера целый день шел дождь. Через несколько дней ты получишь первый отчет, который и сообщишь Здекауеру для прочтения моим однокорытникам. Слышится треск бомб и ядер, к вечеру, но не слишком часто. Дела столько, что некогда и подумать о семейных письмах.

Чу, еще залп; но мы в безопасности: остановились в бастионе № 4 Северной стороны.

Не сердись, душка, что пишу мало, но скоро получишь целую кучу любопытных известий и о дороге и о нашем пребывании. Я выезжаю утром в 8 часов на казацкой лошади в госпиталь и возвращаюсь весь в крови, в поту и в нечистоте в 4, 5 и 6 часов вечера. Целую тебя, прижимаю к сердцу. Поцелуй детей; скажи себе и им, что муж и отец думает об вас и за 2000 верст.

Прощай, моя душка.

№ 5

12 [—14]ноября. Пятница. 1854. Севастополь

Слава Богу, здоровый, следовательно живой, прибыл сегодня в 12 часов утра в Севастополь. Как был, так и есть; такой же точно, как выехал из Петербурга, нисколько не переменялся, тебя люблю по-прежнему; как? — ты это сама знаешь.

Ты, я знаю, милая Саша, была бы довольна и этим одним известием, но есть люди, которые мешаются в чужие дела и хотят непременно знать, как и что и почему и тьму подробностей, для тебя вовсе незанимательных. Я думал-думал, как бы угодить этим господам, а не угодить нельзя добрым людям.

Тем предисловие кончается; я дремлю после реброкрушительной прогулки по Бахчисарайскому шоссе и засыпаю.

13 ноября. День моего рождения, о чем я вспомнил только сегодня, т. е. 14 ноября.

14 ноября. Пишу, милая Саша, не для тебя одной, а и для других добрых людей, а, главное, и для себя, может быть.

Дорога от Курска до Севастополя есть ряд мучений для того, кто находится в приятном заблуждении, что дороги назначены для уменьшения пространства и времени в житейском сообщении. Я рассматриваю их, как особенный род сотрясения, полезного для моих кишок, и потому отношу поездку в Севастополь осенью и преимущественно в военное время к превосходной гимнастике брюшных внутренностей. Толчки, перегибы, перекаты и тьма других телодвижений, конечно, не вовсе безызвестных жителям Гороховой и Вознесенской, встречаются здесь в таком мифологическом объеме, что, наконец, понятие о ровном месте начинает делаться чем-то вроде мифа.

Тарантас наш оказался образцом прочности; однако же и он, благодаря усилиям ямщиков нас опрокинуть, не устоял и, свалившись в одну прекрасную ночь на бок в канаву, треснул.

Трещина, которая могла бы наделать нам множество хлопот, к счастью, обнаружилась в Екатеринославле [...].

Харьков в отношении образованности, несмотря на то, что университетский город, стоит, по моему мнению, гораздо ниже Екатеринославля. Харьковский аптекарь [...], немец, несмотря на мое письменное приглашение и выгодную перспективу сбыть с рук свой материал, не явился, отговариваясь тем, что он не хочет; это уже, очевидно, переход к восточной беззаботности.

Смотритель Харьковской станции сделался вежливым только после многих уверений, что я знаком и даже несколько сродни Антонскому. Тарантас, исправленный совестливо в Екатеринославле, обязан своею трещиною именно харьковскому ямщику, а телега, нагруженная нашими чемоданами и фельдшерами, едва совершенно не развалилась от быстрого переката с сугроба в ров, едва ли учиненного не с умыслом также харьковским ямщиком.

С тех пор участь этого экипажа сделалась и продолжает быть для нас предметом постоянных забот и тревог [...].

После телегокрушения за Харьковом мы должны были расстаться с Калашниковым. Этот ревностный чиновник решил принести жертву науке и человечеству и, подвергнув себя разлуке с нами и всем опасностям одиночного странствия в краю неизвестном и беспутном, принял начальство над разломанной

телегой и ее содержимым с твердым намерением или умереть или доставить все в настоящем виде в Севастополь. Сказано — сделано [...].

Расставшись с телегой, мы думали долететь мигом до Севастополя, но не тут-то было. Если станции и дороги между Курском и Харьковом были плохи и мало способствовали к продолжению пути, то между Курском и Екатеринославом они сделались чисто непреодолимым препятствием к достижению этой цели.

Трудно решить, в ком более должно искать причины: в черно-земе ли, расплывшемся от дождей в какую-то клейкую жижу, или в станционных смотрителях и в содержателях станций. Одно скажу только положительно, что если Антонский почитает почтовое управление в Новороссии, достигшим под его надзором хотя некоторой степени не то что совершенства, а просто только одной сносности, то он жестоко ошибается [...].

№ 6

[Севастополь] 24 ноября 18/54 г.

Еду сегодня в Симферополь, дня на четыре, посмотреть на госпиталь и узнать о сестрах милосердия, которые должны на днях явиться.

Не знаю, отчего ты еще не получила моих двух писем с дороги: из Харькова и Екатеринослава.

В Харькове я отдал с рук на руки станционному смотрителю, в Екатеринославе — отослал на почту; оба письма в казенных конвертах.

Все твои письма до шестого, от 13 ноября, получил; вижу, что ты, моя душа, не совсем благоразумно переносишь разлуку.

Господь с тобой, утешься; ведь ты знаешь хорошо, что с тобой ли, без тебя ли, я все-таки тебя люблю больше всего на свете. Так о чем же грустить [...].

Вместо меня ограничься покуда детьми, а там посмотрим [...].

Когда я ворочусь, неизвестно, но разумеется, что не буду медлить ни минуты, чтобы утешить тебя. Говорят, что они скоро будут бомбардировать, другие говорят, что будут зимовать; короче, здесь так же мало знают, как и в Петербурге.

Я начал писать журнал моей экспедиции и посылаю тебе первые два листка; кто интересуется, как, например, Здекауер,

Глазенап, можешь им дать прочесть. Для тебя же должно знать, что я едва управляюсь с делом и возвращаюсь вечером усталый и потому журнал мой пишу отрывками. Покуда здесь спокойно; от времени до времени слышится канонада, особенно ночью, когда мешают работам; ядра до нас еще не долетают, а много, много если падают в бухту.

Матросы и солдаты убеждены, что Севастополь не будет взят, но все покрыто мраком неизвестности; но только известно и очевидно, что раненые валяются, как собаки, и долго, долго нужно хлопотать, пока их сколько-нибудь приведут в положение, маломальски сносное.

Я в Симферополе оставлю мой чемодан и все тяжелое; останусь там дней пять и более.

Поцелуй и благослови детей; прощай, моя душка, не грусти, ради Бога, а то ты и на меня грусть наведешь; а покуда я доволен хотя тем, что моя поездка не без пользы. Все четыре врача прибыли, и мы восемь человек живем покуда вместе в 2 комнатах.

Целую, обнимаю, прижимаю к сердцу тебя и детей.

[Журнал моей экспедиции]

Жестокий ураган 2 ноября, наделавший много бед нашим неприятелям, не пощадил и нас; он нас застал на дороге в темную ночь, и мы думали, что конец приходит нашему тарантасу. Представь себе клейкую вязкую грязь по мышелки, темную ночь и вихорь такой, что на ногах не устоишь. Мы рады, рады были, что добрались шагом, делая по четыре версты в час, наконец, до какой-то лачуги, названной почтовым департаментом станционным домом, с разбитыми окнами, с одной грязной конурой и пьяным смотрителем. Здесь мы должны были, сидя, провести почти целую ночь. Но все это еще было золото в сравнении с тем, что нас ожидало в самом Крыму; здесь, переехав в Перекопе через Днепр, наше путешествие началось с того, что мы засели с шестеркой лошадей в грязь и просидели бы в ней без сомнения целую ночь (выехав со станции около 4 часов), если бы один благодетельный хохол, ехавший порожнем, не взмилывался над нами и не впряг пару волов; круторогие дернули и вытянули разом и тарантас, и голодную шестерку.

В Перекоп мы приехали уже ночью и, чтобы отдохнуть от грязи [...] отправились в гостиницу. При входе в нее, едва не утонув в огромной луже, мы нашли дверь запертой на замок. Когда дверь

после различных и долговременных усилий с нашей стороны наконец отворилась, мы вступили в огромный запачканный сарай, посредине которого стоял не менее запачканный бильярд; на стенах смелая кисть какого-то иностранного артиста изобразила Минина и Пожарского. Содержатель гостиницы, грек, уверял, что он может нас угостить прекрасным ужином; это обещание так одушевило моего спутника г. Сохраничева, что он заказал бифштекс из говяжьего филе, желая, чтобы он непременно был взят из края и приготовлен по всем правилам искусства. Грек не только обещал удовлетворить этому смелому гастрономическому порыву чувств, но еще предлагал пирожки, борщ и вино-выморозки такого чудесного качества, что во всем Крыму ему не было подобного. Мы уселись в приятном ожидании у окна, открывавшегося в буфет, и вскоре мужик из Владимира в изорванном архалуке с всклокоченной бородой и с плутоватой усмешкой, называвший себя маркером, подал нам через это окно несколько кусков говядины, принадлежавшей некогда какой-то, только уж никак не филейной, части быка, пару пирожков, весьма сходных с резиновыми калошами, и бутылку знаменитых выморозков. К нашему счастью, следствием этого ужина было только урчание в животе и изжога.

По мере того, как мы приближались к месту, обратившему на себя внимание всей Европы, исчезало всякое различие между обыкновенными и курьерскими лошадьми и, наконец, за Симферополем кончалось обидное неравенство едущего по своей надобности и фельдъегерем. Все едущее вперед и назад, наконец, остановилось на станции в Бахчисарае, и почтовая дорога сделалась непреодолимым препятствием к достижению Севастополя, так что шестьдесят верст между двумя этими городами нужно было ехать целые 2 суток.

В Бахчисарае я встретил на дороге Шеншина, которому главнокомандующий [А. С. Меншиков] дал поручение осмотреть и организовать временные госпитали в Бахчисарае и в Симферополе, объявив ему, что он отдал приказание Херсонской комиссии заготовить все нужное для их обзаведения, и прибавив между прочим в своей инструкции, что *о следствиях этого поручения Шеншин должен дать отчет не ему, а министру*, его же просто только уведомить.

Шеншин, встретившись со мною, воротился в Бахчисарай, и мы пошли вместе осматривать временный госпиталь. Описать,

что мы нашли в этом госпитале, нельзя. Горькая нужда, беззаботность, медицинское невежество и нечисть соединились вместе в баснословных размерах в двух казарменных домишках, заключающих в себе 360 больных, положенных на нарах один возле другого, без промежутков, без порядка, без разницы, с нечистыми вонючими ранами возле чистых, в пространстве по благоусмотрительному человеколюбию врача и зрителя, герметически запертых при температуре слишком 18 градусов по Реомюру, не перевязанных более суток, вероятно, также из человеколюбия.

Врач и его помощник, один ординатор, оба безответные пешки, торчали тут и служили живым укором сословию и администрации. Шеншин, очевидно, доброжелающий и ревностный, но еще молодой и незнакомый с делом человек, убедившись нашими доказательствами, что он завел нас не в госпиталь, а в нужник, разразился над комиссаром, зашел в сарай, где нашлись спрятанными кухонные котлы, существование которых он признавал недоказанным.

Крикливые угрозы быть разжалованным в солдаты и подлеца опытный в своем деле комиссар съел, не поморщившись, приложив два пальца к козырьку и сказав про себя: «видали мы этих».

Только в Бахчисарае я начал предвидеть, в каком состоянии найду раненых защитников Севастополя; но все-таки то, что после нашел, превзошло всю меру моих опасений. Отправившись из этого татарского вертограда часа в 4 пополудни, мы доехали кое-как шагом, купаясь в грязи, до Дуванов — последней станции перед Севастополем, нисколько не замечая, что мы приближаемся к театру войны; и если бы отдаленный грохот залпов, от времени до времени доносившийся до нас, не напоминал нам, что вскоре сами должны сделаться деятельными участниками в кровопролитии, то я бы, пожалуй, счел эту прогулку по грязи довольно забавной.

Наконец, в Дуванах оказались первые следы лагерной администрации. Нам отвели ночлег в доме волостного правления, тяготевшего над разбежавшимися теперь татарами. Хозяином этого дома был в настоящее время комиссар, занимавшийся продовольствием войск и устроившийся на своей бивуачной квартире не без комфорта. У него оказались походные кресла, в которых я очень порядочно заснул.

Комиссар был человек, очевидно, опытный и любящий порядок и этикет. Он устроил из бочки форменный стол, покрыв ее доской, а доску — красным сукном [...].

Полтру мы проснулись с мыслью, что находимся в 16 верстах от Севастополя и что наступил последний день наших ожиданий увидеть и услышать собственными глазами и ушами то, о чем мы так много говорили и слышали.

По дороге от Дуванов до Севастополя можно было уже догадаться, что подъезжаешь, или, правильнее, ползеешь к месту военных действий...

В вязкой грязи, толкаясь по рытвинам, спускаясь с гор и поднимаясь на горы, тянулись ряды телег и арб, нагруженных сеном, сухарями и ранеными; по 2 и по 4 человека на телегу скучены были раненые защитники Севастополя, отправлявшиеся в Бахчисарай и оттуда в Симферополь, где их ожидала та же самая участь, т. е. быть сваленными на нары и валяться в грязи и нечистоте под наблюдением врачей.

Хотя я и положил себе правилом врученные мне деньги великою княгинею, Комитетом и другими не давать в руки больным, но бесприютное положение транспортирующихся поневоле меня вынудило раздать им по одному рублю серебром на телегу для мелких расходов.

Около 12 часов утра мы поднялись на гору, и нам представился, наконец, Севастополь во всей красе. Местоположение великолепное. Море и горы. Особливо часть города, известная под именем Корабельной слободы, расположена живописно амфитеатром на горе. Нет сомнения, что нет в целом свете лучше Севастопольской бухты. Широкая (в 1¼ версты), глубокая, извилистая, с крутыми берегами, с изумрудной водой и окруженная со всех сторон горами.

24–28 ноября. Продолжение

Несмотря на грязь и тряску, я не мог достаточно налюбоваться Севастополем, подъезжая к нему 12 ноября утром. Наконец, наш тарантас остановился недалеко от квартиры главнокомандующего и великих князей. Мы думали сначала отыскивать начальника штаба, чтоб ему представиться, и чуть было уж не поворотили на Сухую балку, где он живет, или, лучше, гнездится с своим штабом, как, к счастью, нам вышел навстречу доктор Боссе и еще один морской врач, высокий, дородный, с важной

физиономией, хотя и не без улыбки; я его принял сначала за офицера и не обратил на него достаточного внимания, которое должен был оказать собрату. Первою мыслью был притон.

На одной станции перед Екатеринославом встретившийся нам фельдьегерь сообщил, между многими нелепостями [...] две вещи, заставившие нас призадуматься: во-первых, что весь штаб главнокомандующего кочует на открытом воздухе, без палаток, кто как может, иной в тарантасе, другой просто в грязи, — а сам главнокомандующий — на пароходе; во-вторых, что другого средства в Севастополе нет передвигать ноги, как напяливши на них охотничьи сапоги. Основываясь на этом, мы твердо решились не расставаться, во что бы то ни стало, с нашим тарантасом, снабдить его снутри войлоком и клеенкой, а для защиты нижних конечностей купить в Екатеринославе за недостатком охотничьих простые мужицкие сапоги и длинные шерстяные чулки. Так и сделали. Можно вообразить наше удовольствие, когда Боссе вызвался с необыкновенною любезностью нам отыскать квартиру в батарее через д-ра Гейнрихса, знакомого с местностью; и действительно, через полчаса нам были отведены 2 комнаты со сводами в нижнем этаже Северной батареи № 4-й; в этих комнатах лежал раненый генерал Соймонов, умерший от раны в брюхо при деле 24 октября; в этой же батарее помещались больные и раненые офицеры и — самое важное для нас — возле нашей квартиры была госпитальная кухня; следовательно, и стол наш был обеспечен.

Я тотчас же отправился к начальнику штаба, и высокий, породный, с важной физиономией, но не без улыбки врач [Таубе] вызвался меня провожать. По дороге, берегом бухты, я увидел с десяток огромных пушек, заклепанных и лежавших на берегу. На вопрос мой, что это такое, врач отвечал, что это следствия недоразумения. Когда неприятель шел от северных фортификаций на юг, то приказание Меншикова не было понято якобы, и пушки эти заклепали и сбросили с батареи в море, думая, что неприятель непременно овладеет батареей и будет ими стрелять по городу. Теперь же, когда это предчувствие не сбылось, то наши ловят свои же пушки в море, вытаскивают и расклепывают. Из этого одного обстоятельства мне стало ясно, что хотя приказаний главнокомандующего и не поняли, но все-таки хорошо поняли, что Севастополю не сдобровать, когда бы неприятель занял северные укрепления.

И действительно, все свидетельства очевидцев, и знающих и незнающих дела, в том согласны, что, остановись неприятель на северной стороне города, и он бы просто церемониальным маршем мог взойти в него без малейшего препятствия. Все было в страхе и трепете, а о защите никто не думал. Стоит только посмотреть на Севастополь с северных возвышений и видишь перед собой почти всю бухту с флотом и весь город, как на ладони. Дурачье не поняли этого, а после хвастались в газете описанием глупого и трудного марша с севера на юг, который спас город. Глупому крику гусей был одолжен Рим спасением, глупому маршу англо-французов — Севастополь. Так уж верно угодно Богу, что случай и бессмыслие в великих происшествиях назначены играть более важную роль, чем человеческая прозорливость и остроумие.

Зачерпнув раза три полные калоши грязи, я прибыл, наконец, к начальнику штаба, генералу Семякину. Он сидел в нагольном тулупе и беседовал со своим врачом, бывшим моим учеником, Гейнрици. У него же встретился с Баумгартеном. Оказалось, что и этого героя я знаю; он меня помнит, по крайней мере, по одной операции, которую я сделал ему за несколько лет. Поговорив несколько о том, чему нельзя помочь, я хотел было отделаться этим одним визитом и передать мой конверт на имя главнокомандующего начальнику штаба; но он взялся за это и посоветовал мне самому отправиться.

Возвратившись к моему тарантасу, я увидел Обермиллера, объясняющегося с вел. князем Мих[аилом] Николаевичем]. Я должен был также остановиться и отвечать на некоторые вопросы о дороге, раненых, сестрах милосердия и т. п.

В 6 часов вечера нужно было отправиться к главнокомандующему. Свойства окружающих его лиц не безызвестны. Открылось, что и лейб-медик его пришелся по масти. Высокая, дородная, с важной физиономией, но не без улыбки, особа, провожавшая меня к начальнику штаба, был не кто другой, как д-р Таубе, мой старинный пациент и известный мне и целому Дерпту по оригинальному производству экзамена. Он был казеннокоштный студент Дерптс[кого] университета] и имел необыкновенное отвращение к экзамену на степень лекаря. Отвращение это дошло до болезненного состояния, обнаружившегося под видом истерики. Когда декан факультета Вальтер, несмотря на все отговорки, приказал педелям доставить Таубе живого или

мертвого к себе на дом для экзамена, то его, действительно, привели под руки и, как он объявил, что, сидя, не может экзаменоваться, то его положили на диван, окружили со всех сторон и начали экзаменовать, стараясь от времени до времени освежать упавшие его силы холодной водою. Я никак не мог догадаться, что бледный, как полотно, и изможденный экзаминанд Дерптского университета есть одно и то же лицо с дородным, важным, хотя и не без улыбки, лейб-медиком главнокомандующего сухопутными и морскими силами в Крыму.

В 6 часов вечера я дотащился кое-как до маленького домишка с грязным двором, где заседал главнокомандующий. Едва обо мне доложили, как дверь отворилась, и я стал перед ним, что называется, нос к носу. В конурке, аршина в три в длину и столько же в ширину, стояла, сгорбившись, в каком-то засаленном архалuke судьба Севастополя. У одной стены стояла походная кровать с круглым кожаным валиком вместо подушки; у окна стоял стол, освещенный двумя стеариновыми огарками, а у стола в больших креслах сидел писарь, который тотчас же ушел.

— Вот, как видите-с, в лачужке-с, принимаю вас, — были первые слова главнокомандующего, произнесенные тихим голосом; за этим следовало «хи, хи, хи» с каким-то спазматически принужденным акцентом.

— Пожалуйте, присядьте-с, — продолжал он, подавая мне кресла, еще согретые седалищным мясом писаря, а сам садясь на край кровати, — были вы у меня-с, когда я ребро переломил-с; я никак не могу этого вспомнить-с.

— Был, ваша светлость, но ушел, когда вы только что начали приходить в себя.

Потом он распечатал поданный мною конверт, пробежал его, надев очки, и спросил тем же тихим, беззвучным тоном, видел ли я госпитали на моем пути.

— К сожалению, я видел один, — отвечал я, — но в таком состоянии, что желал бы лучше не видеть его.

— Да-с, было еще хуже-с, 24-го; мы не знали, что и начать-с, лежали-с на голой земле и под ливнями-с.

Есть два рода оправданий: один — просто врать, а другой — говорить правду, описывая собственную вину как нельзя хуже; выслушав такого правдолюбца, поневоле призадумываешься, духа не достанет сказать: да кто же, черт возьми, виноват, как не ты

сам? Это именно я и подумал, слушая, как старик сухо и бесстрастно оправдывался, обвиняя самого себя.

Да, 24 октября дело не было неожиданное: его предвидели, предназначили и не позаботились. 10 и даже 11000 было выбытых из строя, 6000 слишком раненых, и для этих раненых не приготовили ровно ничего; как собак, бросили их на земле, на нарах, целые недели они не были перевязаны и даже не накормлены. Укоряли англичан после Альмы, что они ничего не сделали в пользу раненого неприятеля; мы сами 24 октября ничего не сделали. Приехав в Севастополь 12 ноября, следовательно, 18 дней после дела, я нашел слишком 2000 раненых, скученных вместе, лежащих на грязных матрацах, перемешанных, и целые 10 дней почти с утра до вечера должен был оперировать таких, которым операции должно было сделать тотчас после сражения. Только после 24-го явился начальник штаба и генерал-штаб-доктор; до того, как будто и войны не было; не заготовили ни белья для раненых, ни транспортных средств и, когда вдруг к прежним раненым прихлынуло 6000 новых, то не знали, что и начать. За кого же считают солдата? Кто будет хорошо драться, когда он убежден, что раненого его бросят, как собаку. Наведавшись о здоровье Сузы, главнокомандующий спросил и о сестрах милосердия:

— Будет ли-с толк от них? Чтобы не сделать-с после еще 3-го сифилитического отделения в госпитале-с.

— Не знаю, ваша светлость, — отвечал я, — все будет зависеть от личности женщин, которые будут выбраны. Мысль учреждения, очевидно, хороша и уже практически применена; остается знать, как удастся применение у нас.

— Да-с, правда, и у нас теперь какая-то Дарья, говорят, очень много-с помогала-с и даже сама перевязывала-с раненых под Альмой... А что? Вы уже приютились?

— Мне уже отвели квартиру, ваша светлость, лучше вашей.

— Хи, хи, хи, хи, — судорожно произнесенное, но с некоторым удовольствием. После этого он начал разбирать кучу писем от пленных, и я, спросив его из учтивости, — признаюсь, не из участия, — о состоянии его здоровья, счел за нужное убраться поскорее из жарко-на жарко натопленной лачужки, встал и откланялся.

— Прощайте-с, мы близко здесь живем друг возле друга-с, — и опять принужденно судорожное: хи, хи, хи...

Так окончилось свидание с провидением Севастополя. Что же это такое? Пуф или правда? Что значит это уединение, это притворное спартанство? К чему жить в лачужке и хвастаться еще этим, когда можно бы жить и в городе и в батарее, где мы теперь живем. Что значит это смирение, эта тихая, прерывистая речь?

По дороге в Севастополь я познакомился с двумя партиями, одна укоряет главнокомандующего, что он не обращает ни малейшего внимания на административную часть, имея в виду только одну стратегическую; к другой принадлежал именно Апраксин, который называл себя дураком за то, что он, оставив жену и детей, вступил опять в службу, и оконтуженный возвращался восвояси. Апраксин, как кажется, добрый и честный парень, утверждал, что гений Меншикова в тайне готовит огромные планы, что это — величайший полководец, знающий все глубины человеческого сердца, что он один только может спасти Севастополь и что без него все потеряно. Приехав в Севастополь, я, за исключением д-ра Таубе, который *polens-volens** должен все хвалить в своем пациенте, кроме его привязанности к Радемахеру, Распайлю и атомистике, узнал только одну партию: ненавистников, к которой незаметно перешел я и сам, посетив бахчисарайский и севастопольский военно-временные госпитали.

Главная квартира, тихая и безмолвная, как могила, — это уже, что ни говори, не по-русски, да и к чему? Людям, у которых жизнь на волоске, скучать вредно. Беззаботность об участии солдат (которых он, говорят, ругает напропалую) и явственное пренебрежение ко всему, что греет и живет, не может привлечь сердца. Возможно ли, чтобы главнокомандующий ни разу не пришел в госпиталь к солдатам, ни разу не сказал радушного слова тем, которые лезли на смерть?

Я видел на Кавказе, что Воронцов приходил сам к раненым, раздавал им деньги, награды, а Меншиков приезжал только однажды в госпиталь к генералу Вильбуа и не пришел взглянуть, как лежали на нарах скученные, замаранные, полусгнившие легионы, высланные на смерть.

Время покажет, что такое Ментиков, как полководец; но, если даже он и защитит Севастополь, то я не припишу ему никогда этой заслуги. Он не может или не хочет сочувствовать солдатам, — он плохой Цезарь. Он хочет свои недостатки прикрыть мисти-

* Волей-неволей.

ческим молчанием и притворным спартанством; но навряд ли многих надует. Дай Бог, чтобы все это было неправда, чтобы Меншиков сделался, действительно, великим мужем в истории. Я этого ему от души желаю, потому что желаю видеть Севастополь в наших руках; но то верно, что солдаты не знают своего полководца, полководец не заботится о солдатах.

В двух комнатах, отведенных нам в батарее, нас поместилось четверо, а потом, через девять дней, когда приехало еще четверо врачей, и они все поместились тут же; от этого наша квартира сделалась похожей на Нижегородскую ярмарку. По утру мы все выезжаем гуртом на казацких лошадях, прикомандированных к нам начальником штаба, вечером собираемся вместе. 12 дней в Севастополе прошли один, как другой; только три раза удалось побывать мне в самом городе, переехав на ялик Нахимова; два раза я был в Дворянском собрании, в котором теперь устроен перевязочный пункт; в танцевальной зале лежат на полу человек двадцать раненых, в бильярдной делаются операции, на бильярде расположены перевязочные вещи; до этого дома до сих пор еще не долетали неприятельские ядра; но когда мы посещали другой перевязочный пункт, находящийся вместе с временным госпиталем в казармах около морского госпиталя, то в бухте показался наш пароход и в то же самое мгновение пролетело мимо нас в почтительном расстоянии ядро с* английской батареи и упало в воду саженьх в 10 от парохода.

Из этих казарм видны неприятельские батареи, рассеянные по возвышениям южной стороны города. Они [казармы] выстроены на крутой горе, на которую надо подниматься пешком и не без труда по склизкой слякоти. Морской госпиталь, выстроенный на этой же самой горе, очищен от больных; в него во время бомбардировки, несмотря на выкинутый красный флаг, летали бомбы, из которых одна упала между двумя кроватями, лопнула, но не сделала вреда; рассказывают, как любопытный факт, что во время переноски больных падавшие на двор бомбы не повредили ни одного больного, ни одного служителя; зато в перевязочном пункте, который устроили было насупротив госпиталя, в доме Уптона, одна бомба влетела через крышу в комнату, где делали операции, и оторвала у оперированного больного обе руки.

* (Продолжение у меня осталось впредь) - Н. П.

№ 7

[29 ноября 1854 г.]

У меня готово продолжение, но я его не посылаю тебе теперь, потому что, прочитав написанное, я сам испугался, что уже слишком много сказал правды. После, при удобном случае, ты получишь его.

Вот тебе описание двенадцатидневной жизни в Севастополе от прибытия до поездки в Симферополь.

Симферополь. 29 ноября [1854 г.]

Путру в семь часов замечается в нашей квартире необыкновенное движение. Все суетится. Представь себе, пять молодых людей, встающих в одно время с полу, в комнате, в которой от чемоданов и ящиков и повернуться негде. Всякий ищет там и то, где он никогда и ничего не клал. Фельдшера бегают из одной комнаты в другую, принося кому платье, кому сапоги. Я умываюсь морской водой, напяливаю сверх панталон большие мужицкие сапоги, купленные в Екатеринославле и ежедневно питаемые салом, надеваю мой дипломатический сюртук, уже порядочно пропитанный различными животными началами, и сажусь пить кофе, иногда с молоком, а иногда и без молока, закусывая хлебом, не имеющим никакого притязания называться мягким.

В девятом часу крымский казак приводит четверку верховых кляч, я надеваю солдатскую шинель, купленную здесь у одного солдата и перешитую придворным портным, мундирную фуражку, взятую напрокат у Обермиллера, и сажусь на лошадь. Эта шинель имеет неоспоримые выгоды в Севастополе уже потому, что она как-то под цвет с грязью.

Целая кавалькада отправляется в госпиталь, расположенный за полверсты от нас в так называемых бараках, бывших морских казармах. На кроватях лежат немногие раненые, большая часть — на нарах. Матрацы, пропитанные гноем и кровью, остаются дня по четыре и пять под больными по недостатку белья и соломы. Обыкновенно слышишь утешение, что после 24 октября было еще хуже.

В десятом часу начинается перевязка и продолжается до двух и трех часов. В три часа сносятся те раненые, которым необходимы операции, в одну длинную комнату, похожую на коридор, и там на трех столах разом начинаются операции по 10 и 12 в день и продолжаются, пока стемнеет, следовательно, почти до 6 часов.

При перевязке можно видеть ежедневно трех или четырех женщин; из них одна знаменитая Дарья, одна дочь какого-то чиновника, лет 17 девочка, и одна жена солдата. Кроме этого, я встречаю иногда еще одну даму средних лет в пуклях и с папиросой в зубах. Это — жена какого-то моряка, кажется, приходит раздавать свой или другими пожертвованный чай. Дарья является теперь с медалью на груди, полученной от государя, который велел ее поцеловать великим князьям, подарил ей 500 рублей и еще 1000, когда выйдет замуж. Она — молодая женщина, не дурна собой [...]. Под Альмою она приносила белье, отданное ей для стирки, и здесь в первый раз обнаружилась ее благородная склонность помогать раненым. Она ассистирует и при операциях.

На днях я роздал по рукам по осмьюшке чаю и по фунту сахару на каждого больного из пожертвованных сумм, купил чайников и вина. Женщины при нас во время перевязки поят больных чаем и раздают им по стакану вина.

Отделавшись в госпитале, мы тем же порядком отправляемся в наш каземат и садимся обедать. Обед приготовляет солдат, госпитальный повар. Два кушанья, борщ или суп и бифштекс, составляют специальность этого повара, за другое он не берется; но эти блюда он изготавливает не без шика. Кайэн и пикули, отпущенные тобою, оказались весьма кстати. Крымское вино по 30 коп. сер. за бутылку не худо. Иногда после обеда засыпаю, иногда играю в шахматы, привезенные д-ром Каде в виде сюрприза. Около 8 часов кто-нибудь обыкновенно является для компании.

Перед сном я снимаю красную фуфайку и вытираюсь спиртом и потом засыпаю, пробуждаемый неоднократно кусаньем блох.

Так проходит регулярно один день за другим. Так прошло десять дней. В это время я был и в самом городе три раза. Не пугайся, нет тут ничего страшного. Когда я был на другой стороне бухты в госпитале, то одно ядро прожужжало по бухте и упало в сажнях тридцати от парохода, который показался на одном ее конце. Вот все, что до сих пор я видел, или, лучше, слышал из ядер. Правда, всякий день, особливо к вечеру, слышна несколько времени канонада; наши препятствуют их работам, они — нашим, но ничего не выходит очень серьезного. Делают также ночью вылазки небольшие в их траншеи.

Жизнь, которую я веду, не позволяет скучать, и потому мне не скучно, хотя я не вижу ни тебя, ни детей. Мыслей других нет и быть не может, как об раненых; засыпашь, видя все раны во

сне, пробуждаешься с тем же. Читать и писать времени нет. Усталый, вечером думаешь только, как бы отдохнуть. Обермиллер заведует письменной частью, он ведет заметки и составляет списки раненых, которые подверглись операциям или почему-нибудь замечательны.

Встречу с главнокомандующим я описал, но пришлю после. Пробыв двенадцать дней в Севастополе, я успел в это время распределить больных по отделениям, отделить нечистые раны от чистых и оперировать почти всех запущенных с 24 октября. Кончив это, отправился 25 ноября в Симферополь, не предвидя покуда никакого важного события, хотя вранья было довольно, но всё основанного на одних слухах и показаниях пленных и беглецов. Эти беглецы большей частью немцы и испанцы из иностранного легиона французской армии; они уверяли, что будет штурм в день Синопской битвы; кстати, скажи Ник. Ив. Пушкину, что я в этот день был у Нахимова; это такой же оригинал; разговор с ним сообщу после, описывая мое посещение главнокомандующего; уверяли также, что будет [штурм] в день избрания Наполеона, но до сих пор ничего не подтвердилось, батареи неприятеля подвигаются к нашим; думают, что будут обстреливать наш флот, но до сих пор с 24 октября можно все действия почти что назвать бездействием, судя по количеству и силе выстрелов. Что будет вперед, Бог знает: останутся ли зимовать, уйдут ли, будут ли штурмовать и бомбардировать, — никто ничего не знает положительно.

26 ноября я прибыл в Симферополь, употребив на проезд шестидесяти верст из Севастополя целые два дня, и останавливаясь ночевать, потому что ночью нет средств ехать в тарантасе; наш тарантас, как корабль во время сильной морской бури, должен был то подниматься на камни и буераки, раскинутые по дороге и прикрытые толстым слоем грязи, то опускаться в рытвины, то склоняться на бок почти до упаду в глубокие колеи.

От Севастополя до первой станции — Дуванов на пространстве шестнадцати верст лежат целые десятки падших лошадей и гниют в грязи; орлы или род коршунов-ягнятников целыми стаями слетаются на падаль и гордо сидят, расправивши крылья, как имперские гербы, на полусгнивших остовах.

Остановившись на несколько часов в Бахчисарае, посетив госпиталь, вынудив несколько пуль, сделав три ампутации, раздав чай и сахар раненым, мы отправились далее и поутру часов в восемь

прибыли в Симферополь. Здесь раненые, числом слишком тысяча, все почти тяжелораненые, рассеяны в тридцати домах; все дома публичных заведений и некоторые обывательские заняты; нужно разъезжать с утра до вечера; поэтому, заняв один только оставшийся порожним номер в гостинице «Золотого якоря», я веду точно такую же жизнь, как и в Севастополе, с той только разницей, что не надеваю мужицких сапогов и ем по карте три кушанья вместо двух.

Сейчас получил бумагу от статс-секретаря Гофмана об отправившихся из С.-Петербурга сюда сердобольных шестидесяти вдов, распределение которых поручается также мне. Но ни эти вдовы, ни сестры общины Елены Павловны еще не прибыли, а они здесь, действительно, будут нужны; им можно будет поручить раздачу чая и вина раненым; на другую прислугу нельзя положиться.

№ 8

Симферополь, 6-го декабря [1854 г.]

Пишу на почте. Из Севастополя я тебе отправил два письма, из Симферополя — одно; все с фельдъегерем; одно письмо лежит у меня в портфеле; его опасаясь послать, потому что в нем много правды. Сегодня уезжаю в Карасу-Базар, оттуда, может быть, проеду в Феодосию и потом обратно через Симферополь в Севастополь.

Ради Бога, моя душка, не скучай и не сетуй, это отнимает у меня охоту работать. Терпи; начатое нужно кончить, нельзя же, предприняв дело, уехать, ничего не окончив; предстоит еще многое; подумай только, что мы живем на земле не для себя только; вспомни, что пред нами разыгрывается великая драма, которой следствия отзовутся, может быть, через целые столетия; грешно, сложив руки, быть одним только праздным зрителем, кому Бог дал хоть какую-нибудь возможность участвовать в ней. Я знаю, что для тех, кого Он, как нас, благословил счастьем в семейном круге, тяжело, оставив тихий, приятный быт, подвергать себя всем беспокойствам и тягостям разлуки с милыми сердцу и лишениям; но тому, у кого не остыло еще сердце для высокого и святого, нельзя смотреть на все, что делается вокруг нас, смотреть односторонним эгоистическим взглядом, — и ты, которую я привык уважать за твои чувства, верно уте-

шишься, подумав, что муж твой оставил тебя и детей не понапрасну, а с глубоким убеждением, что он не без пользы подвергается лишениям и разлуке. Больше ничего не могу сказать в утешение тебя и себя. Бог даст, настанет день радости для нас [...]. Святое и высокое тебе не чуждо; ты во многом еще можешь сама мне служить примером.

Я пробыл в Симферополе целую неделю и осмотрел всех раненых, рассеянных в двадцати разных местах. Здесь заняты ими все публичные места: губернское правление, дворянское собрание, благородный пансион и много частных домов; и здесь так же, как в Севастополе, от 9 часов утра до 4 часов я был всякий день занят в госпиталях осматриванием больных, перевязкой и операциями. Жил в скверном номере «Золотого якоря», по вечерам ловил блох и вшей, ездил по грязным улицам и ел чудные груши.

Дней пять тому назад приехала сюда Крестовоздвиженская община сестер Елены Павловны, числом до тридцати, принялась ревностно за дело; если они так будут заниматься, как теперь, то принесут, нет сомнения, много пользы. Они день и ночь попеременно бывают в госпиталях, помогают при перевязке, бывают и при операциях, раздают больным чай и вино и наблюдают за служителями и за зрителями и даже за врачами. Присутствие женщины, опрятно одетой и с участием помогающей, оживляет плачевную юдоль страданий и бедствий. Но еще должны приехать сердобольные императрицы, и я недавно получил письмо от статс-секретаря Гофмана, в котором распоряжение этих вдов поручается также мне.

Чтобы избежать столкновения между женщинами, принадлежащими различным ведомствам, хотя и назначенными для одной цели, я должен разместить первую общину отдельно от второй и потому посылаю сестер Елены Павловны в Севастополь, в Бахчисарай и Карасубазар, а вдов оставляю покуда в Симферополе. Не знаю, каково-то им будет в Севастополе; здесь, в Симферополе, у них есть хорошая квартира и им дают экипаж, а в Севастополе им придется жить между самыми больными, в бараках, и ходить пешком в сапогах по грязи; некоторым из них это не покажется, но тут-то и видно будет, кто из них взялся за дело по призванию, а не из других видов.

Сама директриса, женщина еще не старая, в очках, управляется до сих пор с ними довольно хорошо, поступает энергически

и, разъезжая по госпиталям, наблюдает за ними. Между ними есть и хорошо образованные: одна монахиня или послушница, одна вдова какого-то офицера, наша Лоде, говорящая на пяти различных наречиях и выбирающая преимущественно раненых пленных, восторженная и удивляющаяся нередко кратоте мужчин.

На этих днях приехали двое врачей из Дунайской армии: один мой ученик, а другой — Джульяни, племянник Вандрамини, знакомый Шульца, с неисчислимым запасом рассказов, заставляющих хохотать от души, и успевший уже сделаться любимцем г. Лоде, которому она открыла, что она готова переносить в ее новом призвании все, исключая «des choses indycentes»*, вследствие чего учтивый Джульяни при ней прикрывает раненых простынями и одеялами.

Самая ужасная вещь — это недостаток транспортных средств, отчего больные постоянно накаплиются в различных местах, должны поневоле оставаться иногда целые дни и ночи на полу без матрацев и без белья и терпеть от перевозки в тряских телегах и по сквернейшей дороге в свете; от этого самые простые раны портятся и больные еще более заболевают. Смотря на этих несчастных, благодаришь Бога и миришься со всеми лишениями, видя, что есть люди, которые без ропота переносят то, что казалось бы невыносимым для человека.

Весь свой багаж, исключая мешка и погребца, тарантас и пр., я оставил в Симферополе и отправляюсь теперь налегке; это одно средство выиграть время в переездах, иначе, страшно сказать, едешь шестьдесят верст целые двое суток. Погода здесь беспрестанно переменяется: то вдруг тепло, как у нас в июле месяце, то вдруг ливень, морозов, однако же, до сих пор еще не было, и шуба моя уже давно лежит припрятана в чемодане; солдатская шинель и иногда бекешь заменяют ее вполне.

По крайней мере еще недели две не предвидится никакого серьезного дела в Севастополе; наши делают ночью небольшие вылазки: в одной из них наши унесли на руках три мортиры с неприятельской батарее; один казак схватил спящего французского офицера, тот ему откусил нос, а казак, руки которого обхватили крепко француза, укусил его в щеку и так доставил его пленным. Неприятель подвигается, однако же, все ближе; ждут

* Неприличные вещи.

еще нового десанта; но ничего верного. Великие князья проехали отсюда ночью в Петербург, — говорят, что императрица нездорова, — и хотели опять возвратиться; но навряд ли: им, я думаю, жизнь в Севастополе порядочно надоела.

Из новых знакомств, которые я должен был сделать в Симферополе, можно назвать только три замечательные: Княжевич, председатель казенной палаты, которому поручены также сердобольные; доктор Арендт, брат нашего Арендта, человек так же живой и рассеянный, как и наш, отличающийся, однако ж от него двумя трубочками, которые он постоянно носят в носу, вдыхая из них креозот от одышки, и еще мой старый товарищ Московского университета, которого я после двадцати семи лет вчера в первый раз увидел мертвецки пьяного.

Ты мне писала несколько раз о Сартори, Шульце и проч., но я заочно ничего не могу сделать; нужно уже обождать, пока, Бог даст, ворочусь. Скажи только Шульцу, чтобы он, по обыкновению своему, не ленился и исполнил бы совестливо ту работу, которую я ему поручил [...].

В Симферополе новый генерал-губернатор, Адлерберг; не знаю, как-то он справится, но положение не завидное; к весне, я думаю, если будет все так продолжаться, как теперь, что разовьется тиф или что-нибудь хуже от этого стечения раненых и беспорядка в транспорте; если подумаешь, что в Севастополе англичане хоронят их мертвых, зарывая только на аршин, что кругом на воздухе гниют внутренности убитых животных, везде вокруг лежит падаль, да если еще к этому начнутся весной жары, то весь край будет в опасности заразиться. Я это толковал Адлербергу и подал ему докладную записку; но он жалуется на недостаток транспортных средств и сам не знает, что начать.

В Севастополе теперь тысячи три слишком больных и раненых, в Симферополе — четыре, в Карасубазаре — семьсот, в Бахчисарае — пятьсот, в Феодосии — одна тысяча пятьсот, вывозу нет, а других мест в целом Крыму до Перекопа также нет. Да еще если к этому пришлют новое число раненых, то тогда уже Бог знает, как справиться. Но велик русский Бог, надо надеяться и молиться.

Если увидишь Соф[ью] Анд[реевну] Суза, то скажи ей, что я в Симферополе всякий день виделся с молодым Меншиковым; он, контуженный в голову, проживает здесь и, кажется, скоро опять отправится в Севастополь [...].

№ 9

13 декабря [1854]. Бахчисарай

Вчера получил твое письмо от 30 ноября; ты все жалуешься и сетуешь. Утешься, мой милый душонок; я пишу, сколько могу, и мог бы чаще к тебе отправлять письма, но не всегда попадаю на фельдъегерей, особливо в последние две недели, когда я был в разъездах; так что последнее письмо — из Симферополя с почтой (от 6 декабря) и не знаю, когда ты его получишь [...].

Я сегодня же отправляюсь в Севастополь; мы дорогу из Симферополя в Севастополь делаем верхом, семьдесят верст, иначе нет возможности, так скверна дорога.

Письмо, которое ты при этом получишь, не показывай никому; тут я говорю кое-что про Меншикова, чтобы это не разошлось. Чтобы не потерять счету: я к тебе отправил три письма с дороги (из Москвы, Харькова, Екатеринослава), два из Севастополя (через Медицинский департамент), одно из Симферополя, по почте, и одно из Бахчисарая теперь, тоже с фельдъегерем. Будь уверена, что я не ленюсь и помню о тебе; а главное, повторяю, береги себя.

Сегодня здесь в первый раз морозит, а то до сих пор стояла или чудеснейшая летняя погода, или дождь лил без милосердия; вчера еще в саду Бахчисарайского дворца я видел две дикие розы в цвету; мое путешествие и самый Бахчисарай я тебе опишу после. Не видал Севастополя уже две недели почти, знаю только по слухам, что там делается.

Сюда прибыл Сакен, и теперь все надеются, что пойдет лучше; но, когда и как все кончится, еще никто и ничего не знает; и я не знаю, когда мне нужно будет уехать отсюда — с триумфом победы или улепетывать; впрочем, все надеются.

— Будет ли взят Севастополь? — я спрашивал у матросов.

— Не надеемся-с, — отвечали они, — прежде могли бы взять, а теперь так нет-с.

Про сестер милосердия я тебе писал в письме из Симферополя; если великая княгиня пришлет еще к тебе узнать, то скажи, что сестры до сих пор принялись с ревностью ухаживать за больными, так что две занемогли, но, надеюсь, выздоровят; до сих пор ничего не слышно о любовных интригах с офицерами, но, как об этом начали было поговаривать, то я запретил посылать сестер к юнкерам, тем более что между ними мало опасно ране-

ных; пять из них будут жить в Бахчисарае, а остальные все переедут в Севастополь; сердобольные императрицы, адресованные Гофманом ко мне, еще не приехали и останутся, приехав, в Симферополе; через это надеюсь избежать различных столкновений между ними.

Больным здесь все еще худо; перевоз их из одного места в другое ужасен: в некрытых телегах, без шуб, ночлеги на открытом воздухе или в холодных избах, потом переезд в лодках через Днепр верст семнадцать; но и об этом напишу тебе подробно после.

Прощай, мой душонок, будь спокойна, по крайней мере, если не можешь быть веселой; береги детей, целуй их, благослови их. Смотри же, о Меншикове в моем письме не говори никому.

Целую и обнимаю тебя.

№ 10

18 декабря [1854]. Севастополь. Суббота

Получил твое письмо от 8 декабря сегодня и с флигель-адъютантом Шеншиным посылаю тебе два письма: одно, писанное из Бахчисараея, во время моего проезда, другое — сегодня за час до отъезда Шеншина и поэтому я спешу; тебе нужно только знать, каков я, жив ли, здоров ли, люблю ли тебя по-прежнему. Я жив, здоров покуда и люблю тебя, как всегда; ты сама знаешь, как. Письмо, которое я хотел отправить из Бахчисараея, не отправлено, потому что не нашли фельдъегеря, и потому его взял Шеншин вместе с этим; оно по адресу конторы ее императорского высочества Елены Павловны и потому ты получишь оба письма, одно от Шеншина, другое же должна получить из конторы Елены Павловны.

Если она пришлет спросить, то скажи, что ее сестры до сих пор оказались так ревностными, как только можно требовать; день и ночь в госпитале. Двое занемогли; они поставили госпитали вверх дном, заботятся о пище, питье, просто чудо; раздают чай, вино, которое я им дал. Если этак пойдет, если их ревность не остынет, то наши госпитали будут похожи на дело.

Несмотря на все это, худое начало не исправляется легко. В Симферополе лежат еще больные в конюшне, соломы для тюфяков нет, и старая, полусгнившая солома с мочой и гноем высушивается и снова употребляется для тюфяков; соломы здесь

уже совсем нет (в Севастополе), пуд сена стоит 1 руб. 75 к. серебром. В открытых телегах, без тулупов, везут больных в течение семи дней из Симферополя в Перекоп; они остаются без ночлега, на чистом поле, или в нетопленных татарских избах; остаются иногда дня по три без еды и проч. и проч., а если будет еще новое дело, то Бог знает, что сделают с ранеными. Вот следствия беспечности и непредусмотрительности, когда ничего не заготавливали, шутили, не верили, не приготавливались.

Одно письмо из Симферополя, посланное по почте, ты получишь, верно, после этого письма; я два послал из Симферополя — одно отдал сыну Меншикова с курьером, а другое — по почте. Пожалуйста, не пили меня, что я пишу для других; ты ведь очень хорошо знаешь сама, что это глупость. Сартори, Мюнцлову и другим скажи, что я отсюда ничего не могу сделать; нужно ждать моего возвращения, если Бог поможет возвратиться по добру и по здорову. На *Gaz. Med** покуда подпишись.

Сестра Лode осталась с пятью другими в Бахчисарае, там ее брат. Слава Богу, что ты успокоилась. Верь мне, душонок, если ты покойна и здорова, если детки веселы и здоровы, то это мне дает силу и спокойствие переносить все труды и лишения. Целую миллион раз тебя и детей и благословляю вас.

Корпии и перевязочных средств никогда не будет довольно для раненых. Бинты едва моются и мокрые накладываются; и так, чем больше, тем лучше.

№ 11

25 декабря [1854]. Севастополь

Сегодня получил твое письмо от 12 декабря и спешу мое отослать с фельдъегерем, который отходит сегодня. По возвращении моем из Симферополя я нашел здесь все по-старому, за исключением потери одного товарища, которого ты видела у нас и имя которого ты не могла еще хорошо выговорить — Сохраничева. Приехав из Симферополя, я застал его в бреду, он узнал и не узнал меня и был уже шесть дней болен; еще шесть дней продолжалась болезнь, бред и молчание перемежались, агония продолжалась три дня; больной, совершенный труп, без пульса, с холодными руками, дышал и двигался судорожно. Я должен был

* «Медицинская газета».

перейти в одну комнату вместе с Обермиллером и Каде; от этого наша квартира была похожа на что-то среднее между казармой и госпиталем; возле нас лежал умирающий, и мы должны были и обедать, и смеяться, и в шах играть, беспрестанно слушая стоны умирающего и видя его агонию; — ко всему привыкаешь; — я люблю переменять часто белье, теперь не переменяю его по шесть и по семь дней; любил окачиваться холодной водой, — теперь не умываюсь иногда по целым дням. Бедный Сохраничев [...].

О путешествии моем верхом из Симферополя через Бахчисарай я, кажется, уже писал к тебе. Другого средства нет теперь. Вот уже третий день, как погода переменилась; настала зима, 8–10° холода, снег, и у нас в комнатах, в батарее, порядочно холодно, так что мы сидим в солдатских шинелях.

В Симферополе, в Бахчисарае и в Карасубазаре мы встретили оригиналов, которых в Петербурге не встретишь, и потому нужно кое-что сказать о них. В Симферополе: Федор Алексеевич и Фекла Кузминишна Цветаевы, главный доктор госпиталя; мы у него жили три дня, возвратившись из Карасубазара. Фекла Кузминишна живет угощением; что только она мне в эти три дня давала есть, за то Бог ей судья; я от роду ничего подобного не ел: варенуха, соленый гусь, пирожки, оладьи с яблоками и без яблок и проч. и проч.; мало этого, она еще и со мной в Севастополь отпустила икры, колбас, ветчины, гуся соленого и проч. и проч. Сама Фекла Кузминишна — дама презентабельная: высокая, толстая и говорит малороссийским диалектом, как пишет. У Феклы Кузминишны человек десять детей; они все гуляют по двору, бегают по комнатам и делают, что им угодно. Федор Алексеевич, человек чрезвычайно добрый и смирный, имеет обыкновение приговаривать к каждому слову: сделайте одолжение. Фекла Кузминишна называет его Федюшей. Особливо неприятен ей директор госпиталей, посаженный Меншиковым, барон фон-Кистер, которого она называет клистиром. Без нее Федора Алексеевича давно бы заели; но, как только он начинает ослабевать и подаваться, Фекла Кузминишна крикнет: «Федюша», и Федор Алексеевич приосанится и сейчас же скажет (басом): «сделайте одолжение» [...].

В Бахчисарае мы оставались два дня, и город, когда в него въезжать верхом, кажется совсем другим, чем смотря на него из тарантаса. Ханский дворец действительно живописен, и я понимаю теперь, что Пушкин, бывши здесь летом, предался поэтическим

мечтам. Мы видели и фонтан слез, и гробницу Марии с луной над крестом, и бывший гарем Гирея; на дворе около фонтана зеленелись мирты и цвели дикие розы, вокруг тянется цепь гор. Поутру отсюда ездили в Успенский монастырь, вырубленный в скале, и к удивлению нам отслужил молебен немец, отец Ефрем, принявший греко-российскую веру и родня Обермиллеру.

Здесь в Севастополе дела вперед не подвигаются, все то же и то же; всякий день раненых и убитых понемногу, ночью вылазки с нашей стороны, приходят в лагерь англичане и французы и передаются; говорят о том, что хотят сильно бомбардировать, говорят и о том, что ждут десанта, говорят и о зимовке; но всё одни слухи — так же, как и в Петербурге. В последние два дня мало стреляли; неприятель ведет мины у одной батареи, чтобы взорвать ров, наши ведут контр-мину; недавно они выступили, чтобы взять из Байдарской долины овец, и им удалось отнять до тысячи; а впрочем, все спокойно, как будто бы и ничего не бывало, и, если бы не пушечные выстрелы от времени до времени с батарей, то и забыл бы, что находишься в Севастополе.

Не знаю, долго ли продолжится такая зима, но если долго, то это, может быть, окажет какое-нибудь влияние. Штурмовать они покуда не сунутся, десант теперь тоже труден, и так вероятнее, что они останутся зимовать; хорошо укрепившись в Балаклаве, им нечего бояться.

Когда я уеду из Севастополя, ничего не знаю, но, начав разные наблюдения, распорядив различные отделения, не хотелось уезжать без результата. Впрочем, будущее в руках Бога, и, ты знаешь, я не люблю толковать о том, что нужно будет сделать. Ты хочешь мне присылать разные вещи; пришли сигар и кофейник, мой начинает распаиваться, более мне ничего не нужно; мой тарантас, чемодан и все тяжелое я оставил в Симферополе и здесь живу налегке.

Сестры еще сюда не приезжали и теперь не скоро будут, потому что дорогу в Бахчисарай занесло снегом и другой почты нет, как верховой; но я ожидаю их сюда с нетерпением; они здесь необходимы: больные, хотя и получают чай, который им раздают несколько женщин, но неаккуратно; сестры это делают гораздо аккуратнее; скажи, что велик[ая] княж[иня] этим действительно оказала услугу истинную человечеству и сделала переворот в госпиталях военных; жаль только, что восемь сестер, как я слышу, заболели в Симферополе.

Прощай, моя душка, кланяйся Маше и скажи ей, чтобы она перестала дурачиться. Целуй и благослови детей. Обнимаю и целую тебя.

№ 12

3 января 1855 г. Севастополь

Покуда северные укрепления; я на этих днях, вероятно, перееду в город, который покуда совершенно безопасен, потому что обе стороны находятся почти в совершенном бездействии, за исключением ночных вылазок с нашей стороны, пуканье от которых нередко нас будит ночью, а днем доставляет человек по десяти свежих раненых. С новым годом, моя душка.

Хочешь ли знать, как я встретил 1855-й год? Вот тебе описание. Накануне натопили печку жарко-нажарко проклятым антрацитом; а Калашников вздумал сделать сюрприз нам и за недостатком шампанского напоил чем-то вроде донского, которое, по его предположению, должно было произвести значительный эффект при откупоривании бутылки. Сверх этого, собралось человек шесть вооруженных папиросами и сигарами врачей для провожания старого года. Следствие всего этого был жестокий угар, который не в состоянии была разогнать и жестокая ночная перепалка на батареях. Я проснулся с сильной головной болью и думал уже было остаться целый день дома; но, к счастью, не сделал этой глупости: пошел в госпиталь и немного разгулялся, не надеясь, однако же, весело встретить Новый год.

Провидение устроило иначе. Лишь только я пришел домой, как явился один полковой штаб-лекарь с позиции, бывший мой ученик, с приглашением от своего полкового командира встретить у них Новый год. Я сначала отнекивался, но потом подумал и, куда ни шло, согласился. Двое из нас поехали в коляске, я и штаб-лекарь верхами на позицию.

Что это за штука такая, позиция? А вот что. Верстах в пяти от Севастополя, между горами, невдалеке от горной речки, мы нашли множество рассеянных кучек снега, — вот уже пять дней как у нас лежит здесь снег, — под этими кучками скрывались землянки, сооруженные изобретательностью солдатского ума. Спустившись ступеней на пять или аршина на два с половиной в глубину, мы очутились в довольно просторной комнате с накрытым столом для гостей полкового командира Одесского

полка полковника Скюдери. Стены были обиты затрапезными халатами, одно окно, вделанное в землю, освещало комнату, топилась из камней сложенная печка, нисколько не дымясь, несмотря на вьюгу на дворе, — труба из нее выходила наружу тоже через землю.

Стол был человек на двадцать; гости были: бригадный генерал, полковой поп, дивизионный квартирмейстер, дивизионный провиантмейстер, два штаб-лекаря, мы втроем и несколько штаб- и обер-офицеров. Начался обед, да еще какой! Было и заливное, и кулебяка, и дичь с трюфелями, и желе, и паштеты, и шампанское. Знай наших, а еще жалуемся на продовольствие, говорим, что у нас сухари заплесневели. Кабы французы и англичане посмотрели на такой обед, так уже бы верно ушли, потеряв надежду овладеть Севастополем. Поп играл за обедом совершенно пассивную роль, зато дивизионный квартирмейстер, питух и остряк, морил всех со смеху; бригадный, толстяк и добряк, двигал с задумчивостью челюстями; все прочие были совершенно в своей тарелке. Хозяин, красавец собою, герой с простреленной рукой, угощал нас на убой. Пили за здоровье государя, заиграла музыка, грянул хор певчих «Боже царя храни». К концу стола на дворе послышался шум и гам; это было офицерство, натянувшееся в другой солдатской палатке и provozглашавшее громкие тосты.

Мы вышли все наружу. Снег падал крупными хлопьями, нас окружали побелевшие горы, вдали на горах виднелся неприятельский лагерь; образовали круг из музыкантов, певчих и офицеров, и в середине этого круга, в грязи по лодыжки, поднялась пляска. Полковой штаб-лекарь, мой ученик, виртуоз на гримасы, в солдатской шинели, в сапогах по колено, в бараньей шапке, отдувал канкан с прапорщиком, представлявшим петербургского бального dandy; не утерпели и другие гости: составила мазурка; хозяин, полковник с подвязанной рукой, и батальонный командир стали также в ряды танцующих. Завязался пир горой; я помирал со смеху, нельзя было не быть веселым, видя, как весело и беззаботно живет русский человек; там, за горой, слышались пушечные выстрелы; в траншеях рылись и стрелялись; здесь отваливали трепака, пускались в присядку, а один солдат, выворотив наизнанку нагольный тулуп, даже ходил в грязи вверх ногами и так пятками пощелкивал, что любо-дорого смотреть было.

Кончилось, наконец, тем, что начали гостей поднимать на руки и качать на воздухе, запивая все эти движения шампанским; меня также раза три приподняли так, что я боялся, чтобы в грязь не шлёпнуться; головную боль как рукой сняло, и я был от души весел. Уже поздно ночью мы воротились домой.

Что же делалось у нас, в главной квартире? С утра Меншиков запер ворота на замок и, подобно мне, не принимал и не отдавал визитов; это, по моему мнению, не худо, но худо то, что он никого не угостил обедом; скучной и мрачной оставалась главная квартира в Новый год, как и прежде; это — не по-русски.

И мы, и союзники, у моря сидя, погоды ждем. Днем теперь почти что не стреляют, но всякую ночь ходят на вылазки; раненые солдаты, возвратившись с вылазок, рассказывают, что у неприятеля около траншей снега нанесло с горы; работы, кажется, вперед не подвигаются; с ноября месяца начали переходить к нам французские и английские дезертиры; начали, однако же, немцы из иностранного легиона; из них двух, бывших трубочистов, я нашел в госпитале; они рассказали, что французы их надули, обещая свезти в Алжир, а привезли в Севастополь. Но теперь являются к нам и настоящие англичане, и французы, жалуясь на холод и плохую обувь; есть, однако ж, у англичан, по рассказам, человек пятьсот мастерски одетых: сапоги по пояс, на плечах макинтоши и полушубки, на голове медвежьи шапки с заушниками. Землянок они, сколько известно, не делают, а живут в парусинных палатках. Если зима удержится, по крайней мере, как теперь, с морозом градусов в 8, с ветром и снегом по лодыжки, то, может быть, прок будет.

У нас между тем с каждым днем транспорты делаются все хуже и хуже; шестьдесят верст между Симферополем и Севастополем нужно ехать в повозке недели две, не преувеличивая; от этого все вздорожало; пуд сена стоит 1 р. 75 коп. сер., да и того нет; фунт сахару поднялся на 75 коп. сер.; вино крымское, стоившее обыкновенно много, много 1 р. сер., стоит теперь 9 р. сер.; но мясо еще довольно дешево; сухарей у солдат дней десять нет; полушубки, которые должны были прибыть к 15 декабря, и теперь еще не пришли; водки также по целым неделям не бывает.

Можно себе представить, что такое транспорт больных при этих средствах. Я видел, как отправилось семьсот больных из Симферополя в Перекоп; их положили по три и по четыре на татарские арбы, без подстилок, без покрывшек, в одних солдатских

шинелях, надетых у иных только на рубашки, и так повезли в путь, продолжающийся целую неделю; а ночлегов нигде нет, следовательно, ночуй под открытым небом. На этих днях, однако же, привезли провизию, но не для людей, а для войны: бомбы и ядра из Екатеринослава и порох, которого несколько сот пудов свалили в углу батареи, возле нашей квартиры; это приятное соседство не мешает нам, однако же, несколько разводить самовары и курить преспокойно табак.

Пронеслись было слухи, что союзники хотят сделать новый десант и обойти нас со стороны северных укреплений. Разом построили новую земляную батарею на четверть версты от нашей квартиры; говорили также о высадке около Перекопа и поэтому, вероятно, остановили около Перекопа шедшую к нам дивизию. К нам прибыли, однако же, резервы для укомплектования полков, но также, кажется, чтобы только выждать. Война наша идет решительно на выдержку: кто оттерпится, тот и прав. О будущем, как всегда и везде, никто ничего не знает. Об Остен-Сакене, прибытие которого наделало было шума, теперь замолчали; он живет в городе и, кажется, притворяется больным. Ждут великих князей; до них он, может быть, нарочно прячется; большая часть неприятельского флота ушла: одни говорят — на зимовку в Константинополь, другие — за свежим войском.

Никто ничего не знает, разве только один молчаливый князь Меншиков. Не знают и того, в какой мере нуждаются союзники и даже вообще нуждаются ли они. Только один лекарь, также бывший мой ученик, Беликов, служивший в Балаклавском батальоне и попавший вместе с ним в плен к англичанам, сказывал мне, что до 12 ноября, — в этот день они его отправили обратно в Ялту, — у него вместо свежего мяса давали солонину, а что теперь дают — неизвестно. Не помню, писал ли я к тебе, что они моего достойного ученика ограбили и продержали на гауптвахте две недели вместе с преступниками за одно недоразумение: он хотел отправиться вместе с одной греческой фамилией в Ялту. Лорд Раглан позволил этому семейству отправиться; имя Беликова было уже внесено в список отъезжавших и передано капитану парохода; он собрал свои пожитки, состоявшие в шинели, калошах и шапке, и шел уже на пароход, как его вдруг остановили на дороге, потребовали именное приказание от Раглана, и когда он сказал, что у него нет такого, то его посадили на гауптвахту, кормили галетами и потом отпустили только по ходатайству

Уптона. Этот молодец, вместе с Кетли, бывшим консулом в Керчи, также у них в Балаклаве; изменники ли они или принужденные — неизвестно; первое, однако ж, вероятнее.

Уптон женат на дочери хана Гирея и дал Беликову, при его отъезде, письмо к своей теще, ханше, родом англичанке; разумеется, это письмо было передано губернатору. Сначала Уптон и др. утешали несчастного врача, что через несколько дней, со взятием Севастополя, возвратят ему все расхищенные солдатами вещи; рассказывали ему также, что из Севастополя прилетают к ним бомбы с письмами о сдаче города; но потом, все реже и реже стали об этом поговаривать и, наконец, 12 ноября отпустили его с миром восвояси. От него я узнал, что англичане так же, как и мы, валяют своих солдат розгами, раздевши и привязав сначала к столбу; особенно достается туркам; он, содержащийся на гауптвахте, был не раз очевидцем экзекуций. Грабить они также мастера [...].

Ник. Ив. Пущин мне писал о каких-то злоязычных слухах про Нахимова; скажи ему, что это враки; Нахимов теперь сидит также дома, в городе, нездоров, но здесь все, и именно морские, говорят о нем, как он этого заслуживает, — с уважением.

Я написал к тебе, по моему расчету, из Севастополя: 1) одно, короткое, письмо вскоре по приезде, 2) одно, длинное, за которое ты меня пилила, якобы за писанное для других, 3) из Симферополя — одно с почтой, 4) тоже из Симферополя — одно с курьером, которое я послал через фельдъегеря от сына Меншикова; про это письмо ты мне в письме от 25 декабря ничего не пишешь; если не получила, то оправься через Сузу; Меншиков-молодой посылал его вместе с своими письмами и хотел кому-то в Петербурге дать поручение отправить его к тебе; 5) одно — через контору Елены Павловны; 6) одно через флигель-адъютанта Шеншина, 7) через Пеликана, 8) настоящее [...].

Если Поль Пети или Сартори нужны деньги, то пусть пришлют счета сюда, а я здесь подпишу.

Я с этой же почтой пишу великой княгине о сестрах, из которых четырнадцать захворали, а двое умерли от непривычных трудов; но Бог их, верно, не оставит за добрые дела; я описываю великой княгине деятельность посланных ею сестер и врачей, которые, по правде, достойны похвалы. Живем мы теперь вчетвером или впятером вместе, в двух комнатах: я, Каде, Обермиллер, Калашников и Никитин.

Письмо Никитина жене передай, а Калашников от жены еще не получал ни одного письма, а послал уже три. Обермиллер также еще ни одного не получил, а послал пять. Справься через кого-нибудь, отчего это.

Твой навсегда, моя душка

4 января

№ 13

13 января 1855. Севастополь

Два дня тому назад мы переехали в город; не думай, однако ж, душка, что в городе опаснее, чем в батарее, где мы жили; и здесь и там одинаково покуда безопасно; что будет дальше, Бог знает. Стреляют все так же, как и прежде, вообще мало; пускают от времени до времени несколько бомб от нас и от него; — ты знаешь, что он, — это значит — неприятель. Не знаю, как наши бомбы, но неприятельские вообще мало делают вреда; недавно, однако ж, одна влетела в матросский домик в Корабельной слободке, убила одного мальчика и, разорвавшись, обожгла двух маленьких детей и мать. Но вообще это редко; большая часть их бомб так же, как и наших, направлены на батареи Южной стороны города; здесь случается, что иная, лопнув, разорвет так человека, что его и по кускам не соберешь; всего чаще, однако же, встречаются раны штычными пулями.

Что неприятель теперь делает, трудно решить; работы его медленны; недавно он вел мину против четвертой южной батареи, мы вели контрмину, он узнал это и бросил. Прежде всё говорили, что он скоро откроет батарею против северной бухты, где стоит большая часть флота; но теперь и об этом стало не слышно; батарея эта видна, но без пушек; против нее и наши сделали две батареи на возвышениях; говорили, что он хочет устремиться на Северную сторону, что будет новая высадка; теперь и об этом ничего не слышно.

К нам подходят понемногу резервы, но транспорт все еще труден, как и прежде. После того как около 6 января были морозы градусов в 7—8 и стоял дней пять санный путь, всё опять растаяло; сделалось тепло, как в апреле; а теперь вот уже три дня тихо, градуса 2 мороза, а на солнце градусов 10 тепла.

Неприятель, верно, много терпит; вчера еще перешли к нам человек шестнадцать англичан и египтян; жалуются на холод и

удручающие работы; от нас также иногда перебегают то какой-нибудь поляк, то рядовой, пропивший амуницию. Вылазки ночные дня четыре не делаются; может быть, приготавливаются к чему-нибудь поделнее; на этих вылазках англичан застают в траншеях почти всегда спящих, и потому наши вылазки в английские траншеи почти всегда удачны; и бьют их, и вяжут, и живьем берут; во французских траншеях это не так легко удастся: французы бдительнее.

Наши покуда переносят труды и перемену погоды еще довольно порядочно, хотя больных поносами и лихорадками и у нас довольно; но резервы на пути, около Перекопа, потеряли от усталости по топкой грязи, холода и изнурения разом триста человек, которых поутру нашли в грязи замерзшими. Мясо и хлеб покуда есть, вино также есть, хотя и не всегда, сахар вздорожал: пуд — 17 руб. и более, а дня два его почти совсем и достать нельзя было; но покуда все еще нельзя жаловаться на сильные недостатки; прибывают постепенно и полушубки для армии. Итак, что будет из этого всего, никто ничего не знает.

Князь Меншиков живет так же, как и прежде — как будто бы его и не существовало; Сакен, о котором прежде много говорили, также стих, его также мало слышно. Корабли на бухте стоят спокойно; одни — в половину или меньше вооружены, а другие, как, например, корабль «Двенадцать апостолов», и совсем без пушек, — стоят и зевают; пароходы, штуки четыре, иногда снуют по бухте, да вечером держат караул; мачты затопленных кораблей выглядывают из моря; один из них подмыло и приподняло из воды, по этому-то случаю, говорят, и «Двенадцать апостолов» обезоружили, приготовив для затопления. Шесть неприятельских винтовых стоят в виду, верстах в семи от входа в бухту, все другие отосланы ими в Стамбул на зимовку.

Что делается в Балаклаве, мало известно; словам пленных и перебежчиков нельзя верить, а других лазутчиков, кажется, у нас нет; в какой мере англичане и французы терпят, мы знаем только из газет и от дезертиров. Конца еще не скоро предвидится, но, кажется, наступление весны в феврале должно же что-нибудь решить, кто сильнее и настойчивее.

В городе все тихо; мы занимаем дом на Екатерининской улице, которая идет прямо от пристани (Графской) в гору и оканчивается бульваром, к которому примыкает возвышение с батареей № 3. Квартира наша теперь огромная, комнат семь, все меблиро-

ваны, только холодны, и как дров здесь нет в излишестве, то мы и заняли только три комнаты. Екатерининская улица мало пострадала от бомбардирования; только нижний ее конец, примыкающий к батарее, усыпан черепками бомб; окна домов перебиты, и есть местами пробоины в стенах, но нет ни одного совершенно разрушенного дома. В этой улице сделаны четыре баррикады из камней, в каждой по две и по четыре пушки. К нашему жилью нужно также пробираться через, одну баррикаду.

Мы однажды, в прекрасную лунную ночь, гуляли вдоль нашей улицы и, заговорившись, дошли до подошвы батареи. Мы заметили это, когда уже увидели вблизи бомбы, которые летали вблизи нас. Обермиллер начал жаловаться, что у него подошвы от страха вспотели; Калашников уверял, что, подвергаясь во время прогулки опасностям, мы не можем надеяться ни на какую награду; вследствие этих причин мы воротились по отломкам бомб домой, положив за правило вперед не подвергать жизнь опасности, гуляя.

Впрочем, все это страшно и жутко издали; вблизи опасность принимает совсем другой характер. Занятий все еще гибель; устраиваются новые госпитали, по причине трудного транспорта раненых, в самом городе; в Дворянском собрании устроен уже давно перевязочный пункт; в танцевальной зале и на хорах лежат больные; на бильярде лежат корпия и бинты; в буфете лежат фельдшера.

Только что сейчас прибыло второе отделение сестер; начальница их, Меркурова, принесла мне твои и детей дагерротипы; Коля — не похож, серьезен; ты прекрасно удалась, и я целовал тебя и детей несколько раз; спасибо, душка, за прекрасный подарок; сегодня же получил и письмо от 30 декабря.

Сестры первого отделения от занятий, непривычных для них, от климата и от усердия к исполнению обязанностей почти все переболели; сама их начальница лежит при смерти; три уже умерли. Я рад, что наконец хоть одно отделение сюда прибыло; оно здесь необходимо, некому поручить раздавать вино и чай больным [...].

Жизнь моя здесь такова: я встаю в семь, в восемь с половиной меня ждут прикомандированные ко мне распорядительным начальником штаба Сакена (кн. Васильчиковым) дрожки, и еду в госпиталь, где и остаюсь до двух и более, а потом еду в лодке на другую сторону (Северную) в прежние госпитали и остаюсь там до четырех. Обедаю два кушанья: борщ и котлеты с пикулями и

кайеном, которые я вместе с сигарами и шоколадом от Маши получил 9 января 1855 г.; из трех или четырех склянок пикулей только одна уцелела, а другие разбились, но и одной совершенно достаточно [...]. Кланяйся Богд[ану] Александровичу] и Емилии Ант[оновне]. Скажи, что Бог[дан] Александрович] должен теперь переменить взгляды на войну и флот наш. Кланяйся Шульцу, скажи, чтоб он мне что-нибудь писнул, и я соберусь скоро ему написать. Кланяйся Здекауеру и Сольбригу [...].

№ 14

Севастополь. 26 января 1855 г.

Твое последнее письмо от 14 января лежит передо мною. Вижу, что ты опять начинаешь терять терпение. Это не должно быть, однажды говорю навсегда. Как я могу тебе определить наверное, когда возвращусь; разве оно зависит теперь от меня; и я не понимаю, как ты, зная меня, спрашиваешь о 22 марте; разве я когда определяю день или срок? Напрасно ты упрекаешь меня, что я тебя надул. Я говорил и тебе и всем, что я ехать или исправлять какую-либо должность никогда не буду напрашиваться, как я бы ни был убежден, что эта должность будет по мне; а если мне дадут ее, то считаю за низость и малодушие отказываться. Чем же я виноват и перед кем, что у меня в сердце еще не заглохли все порывы к высокому и святому, что я не потерял еще силу воли жертвовать; а то, для чего я жертвую счастьем быть с тобой и детьми, должно быть также дорого для тебя и для них.

Сюда приехал на днях старик Волков из Москвы, служивший в двенадцатом году в ополчении; он уехал от детей и внучат, чтобы помогать раненым, и говорит:

— Как же можно, батюшка, такую крепость отдать; а я сюда приехал потому, что маракую и Четь-Минеи, сумею помочь, сумею и убажить больному.

Так же и я думаю. Впрочем, я знаю, что и ты так же думаешь, а написала это в минуту горести. Отгони грусть, — верь, люби и уповай. Я, слава Богу, покуда не унываю, да и скучать здесь времени нет, хотя бы иногда и хотелось поскучать о вас, моих милых; но день, несмотря на однообразие осады, летит в заботах. Я переменял квартиру; мне отвели почти целый дом на Николаевской улице, дали дрожки с одной лошадью в мое распоряжение, и я разъезжаю по четырем госпиталям и перевязочным пунктам;

всякий день новые раненые; у меня мой отдельный двор, состоящий из десяти врачей и двадцати сестер; все вокруг меня в деятельности. До двух и до трех продолжается перевязка раненых и операции, потом я схожу обыкновенно на баркас и переезжаю через бухту на Северную сторону; там также госпиталь; оттуда возвращаюсь к обеду домой; наевшись борща и котлет или котлет и борща, пью чашку кофе и засыпаю; в шесть часов вечерняя визитация, вечером — проверки и корреспонденции или иногда и шахматы; так проходит день за день; грохота пушек, лопанья бомб и не замечаешь. Недавно, однако же, французы вздумали пустить несколько ракет, состоящих из чугунных цилиндров с каким-то зондиком на конце, из которых две упали сажень в десяти от нашего перевязочного пункта, и одна сделала глубокую яму аршина в два с половиной на улице, но никому и ничему вреда не причинила. Ночью слышится пальба при вылазках; недавно (третьего дня) наши у четвертой батареи Южной стороны засыпали девять пудов пороха в контрмину и взорвали неприятельскую мину, как слышно, весьма удачно. За полчаса до взрыва перебежал к неприятелю один из солдат, поляк, а с 12 января перебежало поляков и подсудных солдат человек до пятнадцати; зато и от них, то и дело, к нам перебегают по три и по четыре, рассказывая разные нелепости.

На этих днях, однако же, к чему-то приготавливаются; это секрет покуда, но когда это письмо придет к тебе, то уже не будет более секретом; от меня потребовали также сестер и двух хирургов; дело будет, как кажется, между Евпаторией и Севастополем, да может быть и у самого Севастополя, потому что мне велено готовить кровати для больных. Место-то еще можно как-нибудь найти, но матрацев и белья не хватает; больные лежат недели по три на одном и том же грязном матраце и в одной и той же одежде; все-таки, однако же, теперь меньше грязи и нечистоты; сестры помогают нам усердно; жаль только, что между ними, точно так же, как и между военными в главной квартире, есть множество интриг.

Сегодня был в первый раз у Остен-Сакена — человека чрезвычайно вежливого и любезного. Он об одном человеке говорит напрямик правду и — поделом.

Я рад, что перебрался сюда, в город; в Главном штабе главнокомандующего сухопутных и морских сил в Крыму, не в упрек будь ему сказано, зело скучновато; хоть бы он острил побольше,

а то теперь и остроум даже от него не слышно. В городе хоть есть чего посмотреть; дома мало пострадали от бомбардировки; только что народу мало, зато солдат много; виднеются иногда и женщины, остались некоторые, даже и жены моряков; так, одна, жена капит[ана] Протопопова (пароход «Крым»), поит больных в бараках на Северной стороне чаем, а сама живет с мужем на пароходе, курит папироски и весьма уважает Калашникова, с которым она познакомилась при постели больных.

Ты меня, пожалуйста, моя душка, не торопи; не забудь, что я уже теперь вольный казак и заслуженный профессор; отслужил мои двадцать пять лет по новой царской милости и отслуживаю уже еще пятилетие, а служить здесь мне во сто крат приятнее, чем в академии; я здесь, по крайней мере, не вижу удручающих жизнь, ум и сердце чиновнических лиц, с которыми по воле и неволе встречаюсь ежедневно в Петербурге.

В войне много зла, но есть и поэзия: человек, смотря смерти прямо в рыло, как выражался начальник штаба Семякин, когда шел на приступ с азовцами, смотрит и на жизнь другими глазами; много грусти, много и надежды; много забот, много и разливной беззаботности. Мелочность, весь хлам приличий, вся однообразность форм исчезает; здесь не видишь ни киверов с лошадиными хвостами, ни эполет, ни чиновнических фраков и даже ордена видишь только изредка; просто все закутано в солдатскую сермягу, в длинные грязные сапоги, как дома, так и на дворе; я этот костюм довел до совершенства и сплю даже в солдатской шинели. Посмотришь в госпитале, и тут вся наша формальность исчезает: кто лежит на кровати, кто на нарах, кто на полу, кто кричит так, что уши затыкай, кто умирает не охнув, кто махорку курит, кто сбить пьет.

Теперь в госпитале на перевязочном пункте лежит матрос Кошка, по прозванию; он сделался знаменитым человеком; его посещали и великие князья. Кошка этот участвовал во всех вылазках, да не только ночью, а и днем чудеса делал под выстрелами. Англичане нашли у себя в траншеях двоих наших убитых и привязали их, чтобы обмануть наших, думая, что их будут считать за часовых. Кошка днем подкрался ползком до траншей, нашел английские носилки, положил труп на эти носилки из полотна, прорезал в них дырью и, пропустив через дырью руки по плечо, надел носилки вместе с трупом себе на спину и потом опять ползком с трупом на спине отправился назад восвояси;

град пуль был в него пущен, шесть пуль попали в труп, а он приполз здоровехонек. Теперь он лежит в госпитале; его хватили на вылазке штыком в брюхо, но, к счастью, штык прошел только под кожей и не задел кишки. Он теперь оправился, погуливает, покуривает папироску и содрал еще недавно с попа и с Калашникова по двугривенному на водку. С великими князьями приехал, говорят, сюда Тимм, и портрет Кошки будет напечатан в Листке.

Погода здесь опять изменилась. После морозов в начале января настала весенняя погода; дня три тому назад подмерзло опять, а теперь два дня опять оттепель, и дует южный ветер; мы отворяем балкон, погода как в С.-Петербурге в апреле месяце.

О делах в Европе я знаю только по слухам и по некоторым запоздалым ведомостям; не верю, чтобы мир состоялся, — слишком далеко зашли, разве какое чудо случится, и будет какая-нибудь блистательная неудача с той или с другой стороны. Во французских газетах я читал все-таки о «*soup décisif*»^{*}; пленные и дезертиры толкуют также о бомбардировке в феврале месяце, но все это пустое; *un soup décisif* теперь покуда ни с той, ни с другой стороны невозможен; неприятелю, очевидно, нельзя взять Севастополь, не обошедши нас и с Северной стороны; на штурм они не сунутся. Чтобы обойти нас с Северной стороны, им нужно сделать еще сильный десант, а чтобы сделать сильный десант, нужно другое время года. Что будет с нашей стороны, если состоится это движение одного отряда, вероятно к Евпатории, которое теперь предполагается (и содержится в тайне), один Бог знает, а уж верно не Меншиков, который недавно, встретив одного из врачей, спрашивал его:

— Много ли раненых?

— Всякий день прибывают, — отвечал тот.

— Долго ли же это будет продолжаться, скажите мне, — сказал Меншиков.

— Это вашей светлости лучше знать.

— Поговаривают что-то о мире, — ответил главнокомандующий.

Сколько можно судить по рассказам дезертиров, войско у англичан довольно деморализовано; все наши вылазки против англичан гораздо лучше удаются, чем против французов; англичан застают обыкновенно спящими в траншеях; недавно один дезер-

^{*} Решительный удар.

тир рассказывал, что лорд Раглан исчез; вероятно, что его хотят сменить; говорят, что если бы не удерживал строгий караул, то перешли бы к нам целые роты из *legion étranger** и от англичан. Дай Бог, чтоб это была правда. Кораблей их теперь немного видно; из моих окон можно насчитать только до шести, в расстоянии шести-семи верст.

Скажи Шульцу, чтобы он во время пиления посматривал за вещами, сложенными в той комнате, где стоит пила; вообще, мне не нравится, что ты ему отдала ключ от этой комнаты: в ней сложен и спирт, и инструменты, а я знаю, каков надсмотрщик Шульц, и я боюсь, что половина вещей растеряется. Скажи ему, чтобы он пилил вдоль (*Langsschnitte des weiblichen Beckens*), как можно более женских тазов и делал бы больше, чем говорил.

Кланяйся нашей Маше, целуй ее; кланяйся Ем[илии] Ант[оновне], Богд[ану] Алекс[андровичу]. Ради Бога, моя душка, вооружись терпением. Не грусти, крепись, мужайся, надейся; ты у меня молодец; за энергией тебе не в карман лезть; помни, что чем бодрее ты, тем бодрее я. Портрет у меня всегда в боковом кармане у сердца. Целуй и прощай, моя неоцененная Саша.

Прилагаемые два письма отправь по адресу.

№ 15

30 января [1855]. Севастополь

Спешу написать тебе, моя милая Саша, несколько строк; сегодня едет фельдъегерь. Много поэтому писать некогда. Впрочем, все то же, по-старому. Одна только новость о себе: я на этих днях любопытствовал посмотреть наши батареи и к этому открылся удобный случай. Адьютант Сакена ездил парламентарем к французскому лагерю; в это время стрельба с нашей и с неприятельской стороны прекращается, и можно смотреть с батарей на неприятельский лагерь так же удобно, как смотрели мы в Ораниенбауме на английский флот. Я поехал на дрожках на шестой бастион, отстоящий от моей квартиры версты полторы. Улица, ведущая к нему. Большая Миллионная, потерпела много от бомб; все дома в ней почти разрушены; бомбы пробili крыши и отчасти стены, а остальное dokonчили наши солдатики, которым позволено выбирать из

* Иностранного легиона.

разбитых домов стропилы, полы, двери, словом, все, что в них есть деревянного, для топки и для постройки себе землянок.

Когда мы подъехали к шестому бастиону, то подняли у нас белый, парламентарный флаг. Выстрелы с батареей умолкли. Я подошел сначала к стене, находившейся уже прежде, до неприятеля, в этой части города и сооруженной более против татар, чем против европейских неприятелей. Поэтому за ней сделан огромный вал и снабжен огромными корабельными пушками. Опустили щиты, заслоняющие наших от выстрелов, чтобы лучше можно было все видеть, вооружились подзорными трубами и начали смотреть в оба. Вдали, сажен за четыреста, виднелась на возвышении неприятельская батарея, а саженьях в двухстах от нас видны были и траншеи; из них выстроилось так же множество голов французских, любопытствующих подобно нам.

Наш парламентар, с белым знаменем в руках, верхом, сопровождаемый тремя или четырьмя всадниками, спускался медленно вниз с нашей горы в долину, впереди ехал трубач и трубил. На углу кладбища, в расстоянии от нас сажен сто пятьдесят, он остановился; из неприятельских траншей выступило человек шесть пеших, из которых один также нес белое знамя; между ними был парламентар-полковник. Все дело состояло в том, чтобы передать от находящихся у нас пленных письма и ответить на вопрос Канробера, который справлялся, нет ли у нас в плену таких-то.

Вся конференция продолжалась с четверть часа. Парламентары возвратились потом восвояси, щиты спустили, я сел опять на дрожки и убрался; когда я ехал уже по дороге, то опять начали пускать бомбы и еще сильнее прежнего, чтобы вознаградить себя за напрасно потраченное время в переговорах.

В эти два дня были ночью сильные канонады, чтобы препятствовать работам; но раненых мало. Несмотря на то, у нас дела вдоволь; основываем новые перевязочные пункты в обывательских домах, отделяем гангренозных, которые развелись довольно от нечистоты и времени года. Надобно отдать справедливость Калашникову, который утром и вечером часов по пяти работает в гангренозном отделении; только человек такой, как он, привыкший к нечистым работам в анатомии, может выносить столько, сколько он выносит, возясь с гнилью и живыми трупами. Два дома заняты под это благоуханное отделение; хозяевам после, если Севастополь не будет разрушен, придется всё переделать: стены, полы и всё пропиталось гнилью.

Погода беспрестанно меняется. Сегодня чудеснейший день, почти весенний; вчера был сильнейший южный ветер, продолжался, однако, недолго, с дождем, и опять испортил дорогу. Слякоть по колено. Я очень доволен своей новой квартирой; у меня есть камин, и мы живем вдвоем: я, Обермиллер и Калашников. Никитин — в отдельной комнате. За мной ухаживают эти господа, как дети за отцом. Калашников — гений хозяйства. Кто его знает, откуда он все достает, — и капуста кислой для салата, и икры, и шнапса, так что на недостаток нельзя жаловаться; нашел даже и баранков к чаю.

Доктор Каде, который также жил с нами и так часто со мною играл в шахматы, отправлен мною в отряд вместе с Беккерсом к Евпатории; там предвидится какое-то дело. Восьмая дивизия пришла также туда из Перекопа, но до сих пор ничего не слышно, хотя прошло уже несколько дней, как он уехал. Великие князья тоже часто бывают в городе; но Меншикова не видать; он сидит в своей берлоге, между тем как Сакен беспрестанно разъезжает, высматривая все своими сжатыми в булавоочную головку зрачками (что придает его взгляду что-то особенное, именно, что называется по-русски моргослепством).

Я писал тебе уже, что Главнокомандующий морскими и сухопутными силами больше не острит; последняя его острота осталась, кажется, с октября на счет здешнего коменданта Кизлера, толстяка такого, что в дверь не пролезет, и седого, как лунь. Этот дородный господин, увидав телеграфический знак SO, принял зюд-ост за число 50 и прибежал к Меншикову, запыхавшись, объявить, что 50 неприятельских пароходов приближаются. Меншиков, поняв в чем дело, назвал его «ветреной блондинкой». Это была последняя острота.

Видаюсь нередко и с Нахимовым, который, как и все благомыслящие, называет Меншикова скупердям.

Я тебе писал уже, что наши взорвали неприятельскую мину с успехом. Недавно (третьего дня) повторили еще взрыв, а на днях французы ошибочно взорвали собственную мину, думая, что мы в этом месте ведем контр-мину. Не забудь, что это все делается на шесть сажен в глубину, под землей. Говорят (пленники), что у французов сделано слишком двадцать галерей, и все около четвертого бастиона, к которому они всего ближе (на шестьдесят сажен) подошли. Но откуда они новым десантом не отрежут нам

дороги от Перекопа, бояться нечего; говорят, что англичане наняли сардинцев и хотят сделать, кроме Евпатории, еще десант в Алуште на южном берегу и отсюда двинуться к Симферополю, чтобы окружить нас, тогда как Омер-паша, который также в Евпатории, на пароходах пойдет из Евпатории, чтобы окружить таким образом Севастополь со всех сторон. *Qui vivit, verit**.

Вот тебе почти все наши новости.

Начатое нужно кончить. Покуда я чувствую, что здесь полезен и покуда меня не прогнали отсюда, я должен начатое уладить и не возвращаться домой без результата; я ехал в Севастополь не для того, чтобы только сказать, что был здесь. Успокойся же, моя душка, помни, беспрестанно помни, что твоя твердость, твое спокойствие — это моя сила. Портрет твой и детей я ношу, как талисман, всегда при себе возле самого сердца. Целуй и благослови детей.

Шульцу дай прочесть написанное. Нельзя ли приготовить разрез глаза в различных направлениях. Попытайся-ка. — Сделайте разрезы (продольные) носового канала с пометкой, принадлежал ли череп неделимым с коротким носом (калмыкам) или же с длинным носом. Не забудьте сделать, сколько только возможно продольных разрезов женского таза.

Прощай, моя несравненная. Спешу отправить письмо, фельдъегерь едет.

№ 16

Севастополь, 15 февраля [1855 г.]

Не писал к тебе уже полторы недели; это оттого, что, во-первых, было множество дела: ночью было нападение на редут, и французы отбиты с уроном, а во-вторых, я в это время несколько прихворнул своим обычным недугом и теперь засел дня на четыре дома [...].

Скажи Сартори, чтобы он обратился, как можно скорее, в конференцию; я писал Пеликану с этим же письмом.

Я не знаю, получила ли ты все мои письма; нужно бы было счесть. Не помнишь ли ты, сколько я денег пожертвованных имел при себе, 4000 ровно или с чем-то? Письма должны лежать у меня в столе, справься.

Посланных вещей по почте еще не получил.

* Поживем — увидим.

№ 17

Севастополь, 19 февраля [1855 г.]

На письмо твое, касающееся дел Березина, спешу отвечать следующее. Держись всех этих дел дальше. Я в молодом Березине не имею ни малейшего доверия; я знал его, когда мальчишкой он еще долги делал; выросши, играл, проигрывал все, что отец давал; брал у всех, никому не отдавал. Н. И. Пущин добр и благороден, но суждения его о людях не всегда справедливы. Вся эта наследственность частей для детей состоит из шести тысяч р. серебром или 64 душ; Березин просит семь тысяч, которые после передаст моим детям. Нет, этому человеку я ни на волос не верю. Итак, чтоб и помину не было об этом.

Я сижу все еще дома, мой желудок все не в порядке. Ослизнение такое, что все — язык, зев — как будто покрыты слоем этой поганой тягучей слизи, и я думаю просидеть еще недели три дома; мне кажется, это необходимо.

Между тем, здесь дела обстоят по-старому. Недавно, однако же, придумали построить такой редут под носом у неприятеля, который, если окончится благополучно, то, по уверению наших, будет обстреливать все английские редуты; этого мало; заложив его, принялись еще и за другой выше и тот стокарили. В первую ночь после заложения редута французы сделали нападение и ворвались в него, но с одной стороны наши пароходы, а с другой — штыки так их отжарили, что, по словам пленных раненых, *les russes se sont battus comme des lions**. У Евпатории там наши были отбиты без результата. Эта евпаторийская экспедиция, которая в Петербурге представлена как рекогносцировка, очевидно, была самая глупая штука. Интриги! Какому-нибудь генералу непременно захочется что-нибудь схватить, вот он ищет и домогается, пока ему дадут чем-нибудь поковырять, а на поверку выйдет плохо.

Я во время моего затворничества буду писать к тебе чаще, но понемногу; не о чем много. Между сестрами множество больных и здесь, врачи также прихварывают. Главнокомандующий также болен. Нахимов прислал мне из библиотеки много разных книг, и я, оставаясь дома, если не сплю, склонность ко сну есть, — то читаю; главное, лишь бы господь Бог мне вкус поправил, которого почти совсем нет, и я, кроме чаю, почти ничего не ем;

* Русские дрались, как львы.

но так ничего не могу сказать, чтобы где бы болело или что беспокоило; короче, ты знаешь мою историю, — когда ослизнение у меня разгуляется, то считай на несколько недель. Надобно иметь терпение.

Прощай, мой милый ангел, друг мой неоцененный, моя ненаглядная Саша. Целую тебя и прижимаю крепко, крепко к груди.

№ 18

Севастополь, февраля 22 [1855 г.]

Хожу по комнатам с сигарой и со стаканом воды. Вот уж выпил два стакана натошак прекраснейшей воды, авось, послабит. Вчера в первый раз ел суп с курицей; вкус чая еще не могу провкусить, но слизи начинается, слава Богу, менее отделяться. Вчера я принял третью морскую ванну, и действие их, очевидно, благотворительно: как сядешь в ванну, так как будто в раю. Сижу минут пятнадцать, потом обливаю себя ведром холодной морской воды и снова сажусь минут на пять. Кофе еще не пробовал; но сегодня или завтра попробую и думаю, что также теперь пойдет на вкус. Впрочем, сон довольно спокойный. Мне прислали из библиотеки множество книг, и я обыкновенно читаю, но, устав читать, засыпаю.

Вот тебе, моя милая душка, бюллетень моего здоровья, из которого ты видишь, что, слава Богу, идет лучше. Погода стоит здесь прекрасная, покуда сухая, солнечная и теплая. Во время моей болезни заболело еще четыре медика, и Обермиллер отличается истинно своей деятельностью: он и на перевязочном пункте, он посещает этих врачей и шесть сестер, занемогших тифом.

Вчера навестил меня Сакен, но застал меня в ванне. Меншиков отправился отсюда в Симферополь и сдал команду Сакену, на долго ли — неизвестно; у него разболелся пузырь: прежняя, давнишняя его болезнь; он мочился кровью и с жестокими болями. Все этому очень рады, и он хорошо бы сделал, если бы совсем не возвращался из Симферополя.

Вот нам бы твой желтый чай по почте поскорее приехал, не худо бы было.

Посылаю письмо Даля, его взгляд на наше положение; к чему он приплел Сведенборга, уж Бог его знает; но «наши кишки и

тонкие, да длинные, хоть жилимся, да тянемся», по-моему, содержит истинную правду.

Лишь бы нас не покинули наши душевные силы и наша вера, а то, как-то предчувствуешь, отстоим.

№ 19

24 февраля [1855 г.]

Слава Богу, всякий день идет лучше. Вчера я ел с аппетитом тарелку супа куриного и жареного голубя. Продолжаю еще брать морские ванны. Хожу по комнатам, сижу пред камином; вчера в прекрасное утро выходил на балкон. Сон хорош. Вот тебе, моя душка, мой бюллетень. Если так пойдет, то скоро выйду, но спешить не буду.

Великие князья отсюда внезапно уехали ночью дня три или четыре тому назад. Говорят, будто императрица опять занемогла опасно.

Впрочем, все идет по-прежнему. Та же стрельба днем и ночью, на которую по привычке уже не обращаешь внимания. С недавнего времени неприятель пробует бросать к нам, говорят, из-за Малахова кургана, следовательно, верст из-за шести, ракеты. Одна из них упала вблизи дома, где жили великие князья (в Сухой Балке); одна недалеко от Меншикова, у четвертой батареи; несколько в городе; одна в доме, где живет Сакен, который было загорелся, но его вскоре потушили; одна в доме рядом с домом, где лежат гангренозные больные, пробила потолок и углубилась в пол; в других местах врылись в землю на сажень, но повреждений значительных нигде не сделали.

Калашников выкопал часть этой ракеты, и она стоит теперь у нас. Целая должна быть длиною слишком в сажень. Наши на этих днях им подвели и взорвали контр-мину, так что их галерею взорвали на 16 сажень. Про англичан уже ничего не слышно, только про одних французов, которые действуют и работают. Но 14 февраля наши заложили новый редут, который должен обстреливать почти все английские редуты, а выше его еще другой; французы ночью сделали нападение, но я тебе, кажется, писал уже, как их отпотчивали.

№ 20

25 февраля [1855 г.] Севастополь

Верный моему слову пишу и сегодня мой бюллетень. Верь мне, моя душка, что когда могу, когда усталость, занятия не отвлекают меня, то мне наслаждение писать к тебе и тебе рассказывать все, что у меня на уме. Ты еще, я знаю, думаешь, что я от тебя скрытничаю, тебя надуваю, но верь, это пустяки. Клянусь Богом, у меня с тобой нет ничего скрытого и только то тебе не сообщая, что, я знаю, ты не поймешь и потому тебе будет совсем неинтересно знать.

Письмо о Меншикове можешь дать прочесть теперь всем. Я дождался, наконец, что этого филина сменили; может быть, и мы к этому кое-что содействовали; пора, пора; на место его едет Горчаков из Южной армии; покуда командует Сакен.

Я себя чувствую уже довольно крепким. Хожу по комнатам. Всякий день беру морскую ванну, съедаю две тарелки куриного супу и одного жареного голубя, одну чашку кофе. Вкус во рту стал гораздо лучше, также и ослизнение, но еще не совсем исправилось.

Это письмо отправляю с флиг[ель-адъют[антом] Шеншиным, который, кажется, в двадцатый раз уже катается из С.-Петербурга в Севастополь.

Из того письма, где я тебе описывал Меншикова, видно, что я правду говорил: он не годится в полководцы; скупердяй — верно, весь род такой; доказательство mad. Суза; сухой саркаст, отъявленный эгоист, — это ли полководец? Как он запустил всю администрацию, все сообщения, всю медицинскую часть. Это ужас! И взамен, что же сделал в стратегическом отношении? Ровно ничего. Делал планы, да не умел смотреть за исполнением их, потому что ему не доставало умения на это; он не знал ни солдат, ни военачальников; окружил себя ничтожными людьми, ни с кем не советовался, — ничего и не вышло. Он хотел было сыграть комедию и под видом мистицизма, что он молчит, но знает и скрывает многое, хотел бросить пыль в глаза; ему и удалось надуть некоторых дураков (с одним из таких, Апраксиным, я встретился на дороге), которые кричали, что без Меншикова Севастополь погиб. Но теперь все мы знаем, что Севастополь стоит совсем не через него, а *malgré lui**. Слава Богу, я рад, что этого старого скупердяя прогнали. Он только что мешал.

* Вопреки ему.

Раненых здесь всякий день человек по десять бывает. Двое из моих врачей вчера возвратились из экспедиции в Козлов, куда я их посылал, и они двое только и были там операторами на 600 раненых (это — Каде и Беккерс).

Прощай, мой несравненный ангел.

№ 21

1 марта. 1855. Севастополь

Сегодня приводили войска и чиновников присягать императору Александру II. Итак, имя Николая I принадлежит уже истории. Я слышал подробности, но не верится.

Здесь все по-прежнему; о новом десанте еще не слышно. В марте или апреле должно что-нибудь разыграться. Апрель — мой последний термин*, если Бог продлит живота до веку. Здоровье мое, слава Богу, с каждым днем поправляется. Я целый час прохаживаюсь по комнатам, ем полторы тарелки куриного супа, куриную котлетку и беру морские, едва тепловатые, ванны; но на воздух еще не решаюсь выходить, зная, что если выйду, то тотчас же попаду опять на старую свою колею, а это еще рано.

Сегодня едет курьер, и я не хотел оставить тебя без известий, хотя, впрочем, писать не о чем; у вас теперь, я думаю, слухов и разговоров не оберешься; здесь все тихо, все осталось без перемен; по-прежнему выстрелы, лопанье бомб и ракет, раненые, — всё то же. Посмотрим, что будет вперед. Это уже здесь совершенно решенный вопрос, что Севастополя нельзя взять, не окруживши его и с Северной стороны и не прекративши все сообщения; но ведь это не мутовку облизать; сюда, мы слышали, идут еще две дивизии, и тогда посмотрим, что сделают сардинцы и турки.

Замечательно также и то, что французский парламентар сказал нашему (а я слышал лично от нашего) 16 числа, что государь скончался и что будет мир. Меня уверял сам парламентар; передаю, что слышал. Если правда, то необъяснимо.

Погода здесь стоит вообще уже недели две очень порядочная; солнце греет сильно, но ветер холоден, и мы топим еще и печки и камин [...].

Сестры, за исключением последнего отделения, которое еще в дороге, теперь все здесь и трудятся [...]. Из них шесть, однако

* Срок пребывания на фронте.

ж, больных, а две умерли от тифа, который господствует здесь и между больными и между врачами. Многие, однако же, слава Богу, поправляются.

А главное дело, ты, моя милая, несравненная душка, не тоскуй; в конце апреля — это мой последний термин [...]. Не забудь, что уже теперь я отслужил мои годы и свободен. Итак, теперь уже не долго [...].

Пожалуйста, не забудь написать, сколько пожертвованных денег я взял с собой; я теперь свожу счета; мне кажется, что 4000; но ты справишься с письмами от Безбородко, сколько он прислал, я забыл.

Прощай, мой ангел, будь спокойна [...].

№ 22

6 марта [1855]. Севастополь

Слава Богу, здоровье мое поправилось. На этой неделе, завтра или послезавтра, выеду, если будет хорошая погода. Обливаюсь уже холодной морской водой. Но от тебя с 14 февраля ни слова; что это значит? Задерживают письма, что ли? Впрочем, Паскевич был последний курьер, привезший известие о смерти государя. После него еще никто не приезжал.

Я тебе писал уже, что в последних числах апреля, если жив я, здоров буду, уеду отсюда; разве только будет предстоять, очевидно, какое-либо важное военное дело, которое, разумеется, тогда меня задержит до мая. Но весьма вероятно, что если что-либо будет решительное, то в эти два месяца, именно, в апреле, если же не будет, то история эта может протянуться, пожалуй, еще год. Человек предполагает, Бог располагает; насколько человеку позволено загадывать вперед, то в последних числах апреля я выеду отсюда.

Здесь все по-прежнему — вылазки, ночные нападения на редуты, канонада; но все без толку. Кажется, пора бы убедиться, что, так действуя, неприятель ничего не достигнет; об англичанах уже даже не слышно; они удалились с выстроенных ими редутов, и место их заняли французы. Вновь выстроенный нами редут около Малахова кургана им очень нравится, и они уже не раз пытались отнять его, но всегда их отбивали; он очень близко к их редутам, так что наши ночью

украли у них 150 туров* и перенесли на нашу сторону; это их ужасно раззадорило; короче, Другого средства им не осталось взять Севастополь, как окружив его с Северной стороны; без этого им на штурм лезть невозможно, а чтобы окружить, то надобно знать, у кого будет более войск. Ожидают со дня на день сюда Горчакова с его штабом и с войском. Про Меншикова носят слухи, что он умер в Перекопе, и слава Богу.

Мы теперь здесь ничего не знаем об европейских делах: нет ни писем, ни газет. Надобно думать, что дороги, транспорты, провиантировка и госпитали, наконец, существенно улучшатся после того, как Анненкову дана власть распоряжаться и в соседних губерниях: Воронежской, Екатеринославской и Курской. Давно бы так; я, как приехал, то написал докладную записку, что от здешней губернии ничего нельзя надеяться получить для транспорта больных и проч. и что нужно для этого, чтобы соседние губернии приняли участие. Я им говорил также, что если не предпримут мер, то разовьется тиф — он и развился; врачи и сестры то и дело, что хворают, и некоторые, разумеется, умирают [...].

№ 23

18–19 марта [1855 г.].

Отошлется еще на этих днях. Севастополь

[...]. Теперь точно, не писал недели две. Зато перед этим, когда был болен и сидел дома, писал каждые четыре дня; писал к тебе и о деле Березина; писал и мои бюллетени о здоровье; Бог знает, куда все это девается. От тебя же — вот 12 дней ни строчки, да еще и после одного ужасного письма, где ты описываешь свою болезнь, свою грусть и свои заботы о детях [...].

Если я только буду жив, если нас не запрут со всех сторон, а оставят хоть маленькую прореху, я в мае, рано ли, поздно ли — не знаю, к какому числу, — но приеду; баста, — это решено и подписано у меня. Я бы решился и прежде приехать, но две вещи меня удерживают; во-первых, уезжая, я потяну за собой почти десять врачей, которые были здесь, можно по совести сказать, весьма полезны в течение пяти месяцев; они ни за что на свете не хотят без меня здесь оставаться, сколько я их ни уговаривал, и скорее хотят уехать до меня, но не после меня; во-вторых, в мае

* Туры — корзины, наполненные землей, служащие для прикрытия во временных укреплениях.

месяце окончится пять лет службы, и теперь уже меня ни лаской и ничем не принудят служить долее, — после же двадцати пяти можно быть выбранным еще на пятилетие, и кто знает, может быть, меня бы лукавый попутал еще остаться; а после же тридцатилетия не велено указом долее оставаться; для этого и пенсия прибавляется. Пробыв здесь уже четыре с половиной месяца, я подумал, что лучше прибавить еще полтора и уже gründlich* решить. В мае же месяце может Севастополь делать, что ему угодно, но меня не удержит; пора и на Балтийское; там, может быть, также не останемся без дела. Если в эти два месяца ничего не решится, то, пожалуй, будет продолжаться, как осада Трои, и тогда посмотрим, какой бифштекс сделается Улиссом.

Все, что я в состоянии был делать, я сделал для Севастополя; принес мою лепту от души; пусть теперь другие постараются. Врачи также один за другим хворают; из моих еще, слава Богу, никто не умер, но другие умирают таки частенько от тифа. Летом, если все это будет продолжаться по-прежнему, как теперь, будет здесь что-нибудь и похуже тифа.

Я написал Горчакову докладную записку об этом; предложил, что считаю необходимым для отвращения заразы; посмотрим, что он сделает. Он при первом свидании со мною в госпитале (у него я еще не успел быть, был то еще не совсем здоров, то мешали занятия) узнал меня, со мной расцеловался на обе щеки и тотчас же начал расспрашивать обо всем, а потом потребовал, чтобы я ему между оперированными указал какого-нибудь из солдат, кто, по моему мнению, заслуживает георгиевский крест. Я ему показал молодца унтер-офицера с отнятой рукой, которому накануне была сделана операция, и он тотчас же своеручно дал ему крест и поздравил кавалером. Вот за это люблю! Он где-нибудь да слышал, что я говорил о Меншикове, упрекая его, что он не посещает раненых, не дает им награды и ставил ему в пример Воронцова, который на Кавказе сам раздавал кресты в госпиталях.

Как бы то ни было, Горчаков, из этого видно, человек, а Меншиков просто мумия. На этих днях я буду у него, встречу и старого знакомого Коцебу. Здесь новое только то, что стали драться сильнее; после того, как наши построили или почти построили новый редут впереди Малахова кургана, всякую ночь — нападения. В одну ночь, назад тому с неделю, было тысяча двести ране-

* Основательно.

ных, и нам работы было на целых двое суток, когда я только что в первый раз выехал после болезни. Теперь почти все батареи молчат, исключая этого нового редута. Он неприятелю, как спица в глазу. Ожидают нового войска, которое ускоренными маршами подвигается к нам из Одессы и из Бессарабии. Пороху мало, но провиант есть на два месяца.

Я на случай и для себя заготовил сухарей на шесть недель, да пять или шесть окороков; кофе вдоволь. Можно жить, хоть и осадят со всех сторон; но о новом десанте еще ничего не слышно; а о мире и помину у нас нет.

Какой мир, когда они принялись 10 марта нас в ночь бомбардировать, чтобы отвлечь от редута; пустили к нам в город тысячи три бомб, а мы стояли да посматривали, как они, светясь, летели прямо на нас, да только мимо, в бухту, или лопались на воздухе. Никитин, однако же, уверяет, что ему песок в глаза попал от одного лопнувшего черепка бомбы. Вблизи нас загорелся дом, и на этот пожар они прямо начали пускать в нашу сторону; я собрался разом; у меня здесь только один мешок, да погребец и шинель; а в батарее (Николаевской) для нас стоит готовым отведенный каземат; там можно быть безопасными от бомбы; я не переезжаю, однако же, потому что у нас славная и веселая квартира, с балконом на море.

Сигары и желтый чай, наконец, получил на этих днях, 12 или 13 числа, и получил еще от кого-то ящик с сигарами, кажемся, от Зубкова. Про сестер милосердия должен писать еще великой княгине Елене Павловне. Не знаю, что мне с ними делать, когда поеду; они также об этом беспокоятся.

Приложенное огромное письмо, которое я сочинил целую неделю, во время болезни, да несколько дней после болезни, все отрывками да урывками, адресовано к Зейдлицу в ответ на его два письма, но назначено мною и для нашего маленького общества врачей; покажи Шульцу, который, коли хочет, может исправить грамматические ошибки, а потом отдай Здекауеру, пусть он его читает себе и другим приятелям, а после перешлет Зейдлицу. Два письма Зейдлица также дай им прочесть, чтобы лучше поняли мой ответ.

Счет пожертвованным деньгам твой, не знаю, правилен ли; мне кажется, Екатерина Михайловна пожертвовала не четыреста, а пятьсот; справься лучше с письмами в столе. Квитанции Сартори я позабыл передать. Для департамента внутренних дел

закажи Полю Пети шестнадцать экземпляров картин моих *всех выпусков* с первого до последнего. Департамент присылал сюда ко мне бумагу. Если нужно Пети деньги, пусть придет счет, я подпишу; но, вернее, пусть уже подождет.

Квартиру в Ораниенбауме найми заранее, я думаю, ту же. Сюда мне ничего теперь не присылай, а то, пожалуй, не успеет и придти, судя по чаю и сигарам. Себя поздравь с рождением; кажется, уже тебе за 26 перевалило — что еще юноша в сравнении с нашим братом стариком [...].

Писем теперь не ожидай скоро; каждые две недели — раз; решившись раз отправиться в мае и имея теперь дела по уши, писать не могу скоро, но в две недели раз буду; хоть редко да метко [...].

Кланяйся Глазен[апам], Пущину, Здекауеру и всем близким.

№ 24

25 марта [1855 г.]. Севастополь

Это письмо ты получишь, верно, прежде чем написанное от 21 марта, точно так же, как и я получил твое от 13 прежде, чем от 8. Это письмо идет с курьером, а другое с одним генералом, который довольно уже докучал мне в С.-Петербурге и приехал и сюда надоедать. Я в том, письме написал различные распоряжения, а в этом прибавлю только, чтобы ждала меня уже непременно на даче, в Ораниенбауме, куда, надеюсь, если будешь жива и здорова, то переедешь с детьми, как всегда, около 20 мая. В доме оставь кого-нибудь, чтобы принял вещи, а я, приехав в Петербург, тотчас же поеду на дачу; оставь расписание часов на квартире, когда пароход будет отходить в Ораниенбаум.

Из Севастополя я уеду около 15 мая, останусь в Симферополе, может быть, в Херсоне и проч., а потом уже, не останавливаясь, в С.-Петербург. В Москве я думаю остаться только несколько часов и хочу заехать к сестрам; пришли их адрес; не знаю, вместе или розно теперь они живут. Детей поцелуй за их письма; скажи им, чтобы они теперь держали уши остро и слушались бы и вели бы себя хорошенько; я приеду, потребую отчета и буду ослушников судить уже военным судом; для этого с собой привезу и шинель с мундирным воротником.

На днях здесь узнали, что два первых условия мира приняты в Вене; остается теперь самый главный — третий: свобода плавания по Черному морю. Между тем здесь всякий день, или лучше всякий вечер и всякую ночь, на новом редуте валяют напропалую, и число раненых с каждым днем прибывает; но зато на всех других батареях почти совсем утих огонь; только и слышно и видно перестрелку у Малахова кургана. Новые войска, две с половиной дивизии Южной армии, начнут вступать в Севастополь 27 апреля, как это мне вчера сказывал Анненков, который теперь сюда приехал на несколько дней; но ничего, кажется, не в состоянии сделать, чтобы усилить транспорт больных и опорожнить от них город, в котором теперь скопилось до 7000 больных, в Симферополе 6000; и, если не будут вывозить, а осада продолжится, то в летние жары и при существующих недостатках непременно разовьется какая-нибудь зараза. Я об этом толкую всем и каждому; писал докладную записку Горчакову; сам толковал с ним и с нач[альником] шт[аба] Коцебу, с Анненковым, с Нахимовым, — короче, со всеми; прошу их, я убеждаю, чтобы они вывозили больных из города на Северную сторону, раскинули бы там палатки, которые можно лучше проветривать, чем казармы и госпитали; чтобы отсюда возили беспрестанными и постоянными транспортами далее; чтобы запасали места для вновь прибывающих. Все это принимается, но ничего не делается; средств нет, палаток нет, лошадей и фур мало; куда везти больных, также еще хорошо не знают; все ближайшие госпитали уже переполнены, и везде воруют и везде беспорядок по-прежнему.

Генерал-штаб-доктор — пешка и только умеет поддакивать да хвалить то, что худо. В госпиталях нет ни одного лишнего матраца, нет хорошего вина и хинной корки, ни кислот даже на случай, когда тиф разовьется. Врачей почти целая половина лежит — больны, и еще что из всего этого хаоса точно хорошо, так это сестры милос[ердия...]. Если бы не они, так больные лакали бы вместо сытного супа помой и лежали бы в грязи. Они и хозяйничают в госпиталях, и кушанье даже готовят, и лекарство раздают, — зато также и болеют; опять двое заболели и одна, Бакунина, тифом.

Если будешь кого видеть от вел[икой] княг[ини], то скажи, что я готовлю второй подробный отчет о действиях сестер, и прочтет ли его она или нет, а я ей пошлю, потому что я горжусь сам их действиями; я защищал мысль введения сестер в

воен[ных] госпит[алях] против дурацких нападений старых колпаков, и моя правда осуществилась на деле.

Князь Г[орчаков] весь в руках К[оцеб]у, и если Бог сам не поможет нашей матушке родной России, то не далеко на нем уедем; но он, по крайней мере, человек с душой, не такая копченая мумия, как М[еншико]в, и желает добра — это уже много, хоть и недалеко хватает. В военном деле, разумеется, я не судья, и сам лукавый их не разберет, что они делают и что думают делать, — да еще и думают ли — вопрос. Один другому завидует и друг другу ногу подставляет, как бы свалить; но если можно было бы, пожертвовав тысяч двадцать, сделать с нашей стороны что-нибудь решительное, как это уверяют некоторые из военных (разумеется, больше молодые), то я бы советовал не медля это сделать. Что значит и двадцать тысяч, выбывших из строя, в сравнении с теми жертвами, которые падут от заразы, если она успеет развиться; тогда и пятьдесят тысяч не досчитаются. Впрочем, Бог им судья. Я что сумел, исполнил по совести, а на нет — суда нет. Поэтому я считаю мою миссию оконченной или почти оконченной здесь.

Уезжая отсюда, правда, я отнимаю от Севастополя около десятка дельных врачей, но кто думает, что я поехал в Севастополь только для того, чтобы резать руки и ноги, тот жестоко ошибается; этого добра я уже довольно переделал; я предоставил это другим, а сам смотрел больше и что увидел, то было то же самое, что уже прежде видел и знал. Я знал уже прежде, какова участь наших раненых (впрочем, не одних наших), думал содействовать к улучшению; теперь убедился, что при нашей распорядительности это дело — несбыточное; беспорядок, беззаботность и непредусмотрительность — неискоренимы, — хоть кол на голове теши.

Теперь, например, я всем уши прожужжал, что при новом деле, если будет хоть тысяча раненых, то они будут валяться, как свиньи; но никто ни с места, — авось-ка вывезет как-нибудь. После все будет гладко и песочком посыпано. Вместо разных прихотей — сигарок и папирос, и даже вместо чаю и сахару, которые благотворители наши посылают сюда для раненых, лучше бы было им выслать на *чем* бы и *где* бы можно было лежать, но это, разумеется, не так легко. Анненков, вместо — подвод и палаток привез также пожертвование, не знаю, свое ли или чужое, — скляночку с хлороформом. Заботы начальства о смертности — как

и всегда — большие; переписок о числе больных и выбывающих из строя — как и всегда — тьма, — бумага все терпит: врачам нет покою ни днем, ни ночью, — а что толку? До смертности ли тут, до успеха ли в лечении, когда больных скучат, как селедок в бочонке, и в начале болезней и ранений не хотят или в самом деле, может быть, не могут позаботиться об их приюте, о логовище и о чистоте тела?

Да, вот еще геройский поступок сестер, о котором я сейчас услышал и который уже, верно, известен вел[икой] княг[ине]: они в Херсоне аптекаря, говорят, застрелили. Истинные сестры милосердия, — так и нужно, одним мошенником меньше. Не худо, если бы и с здешним Федором Ивановичем сделали то же. Правда, аптекарь сам застрелился или зарезался, — до оружия дела нет; но это все равно. Сестры подняли дело, довели до следствия, и дела херсонесского госпиталя, верно, были хороши, коли уже аптекарь решился себя на тот свет отправить. Но зато они должны теперь ухо остро держать: с комиссариатским ведомством шутики плохи. Здесь, покуда я здесь, их на руках носят: что будет после, не знаю, но под эгидою вел[икой] княг[ини] может быть и хорошо отделаются, лишь бы она не слушала наветов, и лишь бы они, как бабы или как военачальники, между собой не ссорились и друг другу не пакостили. Я уже об этом почти со слезами умолял и их иеромонаха, который, между нами будь сказано, очень глуп, и начальниц самих.

Однако ж я заговорился; пора в госпиталь; ночью прибыли раненые. Прощай, моя душка. Будь, ради Бога, здорова и храни детей. Я часто думаю, что-то они делают одни, когда тебе нездоровится; впрочем, когда я и в Петербурге, то они все-таки остаются одни, если ты нездорова, хотя я знаю, что ты и больная за ними смотришь [...].

Сигары и желт[ый] чай, наконец, на прошлой неделе получил; также и твою корпию; теперь пью всякий день утром Машин шоколад, который целую зиму лежал в бездействии. Пожелай Маше благополучного разрешения.

Прощай, моя душка, целую и обнимаю тебя. Писать теперь не буду так часто — некогда: должен сводить разные счета, переисправить бумаги, а сверх того новые раненые всякий день прибывают. Прощай, до свидания на даче, если Богу будет угодно продлить живота и веку.

№ 25

7 апреля [1855]. Севастополь

Пишу тебе с перевязочного пункта, куда я на время, а может быть, и до окончания моего срока пребывания в Севастополе, переехал на другой день Светлого воскресения [...].

В Светлое воскресенье был у заутрени в соборе, и во время служения уже раздавались издали сильные выстрелы; бомбы летали в город; потом опять все замолкло. Но в понедельник на Святой, 29 марта, в 5 часов утра мы были разбужены сильной канонадой; окна комнаты дрожали, по стенам дома как будто сотни кузнецов стучали молотками; мы вскочили, наскоро оделись и узнали, что неприятель открыл сильную бомбардировку со всех бастионов; наши отвечали; завязалась сильная канонада из тысячи пятисот осадных орудий, полетели бомбы и ракеты, мы побежали стремглав на перевязочный пункт и вскоре вся огромная зала начала наполняться ранеными с ужасными ранами: оторванные руки, ноги по колена и по пояс приносились вместе с ранеными на носилках; слишком четыреста раненых нанесли нам в сутки, слишком тридцать ампутаций.

С этого дня бомбардирование продолжалось днем и ночью до 6 апреля и даже сегодня еще не совсем окончилось, хотя сделалось несравненно тише. В первый день неприятель выпустил слишком тридцать тысяч снарядов; считают, что по сей день выпущено до четырёхсот тысяч. Бомбы падают где ни попало, но вообще вреда изломам бастионов сделали немного. На бастионах считают до ста подбитых пушек из тысячи; разрушенные амбразуры исправляются ночью, но это стоит людей; и у нас считают в течение этого времени (от 28 марта до 7 апреля) до шести тысяч выбывших из строя. На наш перевязочный (главный) пункт, куда являются раненые с самых главных бастионов (четвертый, пятый и шестой), является до двухсот — четырехсот в день. Два наших небольших пороховых погреба и один английский взлетели на воздух.

Неприятель взорвал мину перед четвертым бастионом и образовал воронку, которую и занял; но сегодня ночью наши две роты подползли тишком, разрушили поставленные уже около воронки туры, закидали засевших там французов камнями, выгнали их вон, взяли человек пять в плен и ушли. Бомбардирование, очевидно, уже утихло. Чего хотел неприятель? Бог знает.

Кажется, однако, надеялся более причинить нам вреда и готовился на штурм. Третьего дня ночью сильные его колонны, как говорили, до двадцати тысяч, хотели во время взрыва мины пробраться между 4 и 5 бастионом, но были встречены перекрестным картечным огнем и удрали назад. Между тем, к 10 или 12 апреля придут новые войска к нам, две с половиной дивизии, и мы подкрепимся.

С моря он [...] выставил тоже в нашем виду пятнадцать кораблей, которые, однако, только стоят и ничего не делают. Только с третьего дня одна канонерская лодка, пользуясь туманом, подъезжает близко к бухте, дает несколько выстрелов из больших ланкастерских орудий и тотчас же поворачивает назад; бомбы и ядра из них падают возле нас в бухту. Говорили, что Наполеон сюда приехал и по этому случаю открыто бомбардирование; но эти слухи не подтвердились. Полагают, что бомбардировка теперь прекращается, потому что у неприятеля уже нет зарядов, которых у нас тоже мало, так что каждый бастион должен делать в сутки только положенное число выстрелов. Бог знает, чем все это кончится. Будет ли штурм или нет, но пора бы положить один конец этой глупой осаде.

На перевязочный пункт, кроме солдат, приносят и женщин, и детей с оторванными членами от бомб, которые падают в Корабельную слободку — часть города, где еще, несмотря на видимую опасность, продолжают жить матросские жены и дети. Мы заняты и ночь и день, и ночью, как нарочно, еще более чем днем, потому что все работы, вылазки, нападения на ложементы и т. п. производятся ночью. Странно будет, если после этой усиленной бомбардировки неприятель опять смолкнет, и дела пойдут по-прежнему; но все его усилия теперь обращены, очевидно, на четвертый бастион; через этот пункт он хочет проникнуть в Севастополь. Наши все желают штурма и говорят, что это было бы для них самое лучшее. Северная сторона остается, как и прежде, для нас совершенно открыта, и цены на съестные припасы и проч. нисколько не поднялись.

Письмо твое от 21 марта получил сейчас. Ты, моя душка, та же и в 26 лет, как была прежде. Я тебя уверяю, что ты точно родная детей, и ты без всякого угрызения совести можешь себе присвоить это титуло, которое ты вполне заслужила и которое и дети заслужили своей любовью к тебе.

Погода здесь хороша, но еще не слишком. Стоят туманы; перед нашими окнами расцвела акация, но деревья распускаются несравненно медленнее, чем в С.-Петербурге; я замечаю это, смотря на их свежие листки всякий день. Вино, про которое ты пишешь, я не получил, и теперь не высылай уже ничего — не стоит. Еще пять недель, и я [...] выеду из Севастополя. Надеюсь, что к тому времени даже что-нибудь да будет сделано либо с нашей, либо с неприятельской стороны.

Теперь я живу в трех разных местах. Вещи мои лежат в сохранности в Николаевской батарее, где для меня приготовлен также и один каземат, если на перевязочном пункте будет слишком опасно долее оставаться; на прежнюю мою квартиру езжу обливаться холодной морской водой и обедать, а сплю и провожу целый день и ночь на перевязочном пункте — в Дворянском собрании, паркет которого покрыт корой засохшей крови, в танцевальной зале лежат сотни ампутированных, а на хорах и бильярде помещены корпия и бинты. Десять врачей при мне и восемь сестер трудятся неусыпно, попеременно, день и ночь, оперируя и перевязывая раненых. Вместо танцевальной музыки раздаются в огромном зале Собрания стоны раненых.

Н. И. Пушину скажи, что у его племянника Завалишина оторвало ядро во второй день бомбардирования всю руку, и я вырезал из плечевого сустава. Теперь ему идет довольно порядочно, сверх ожидания, потому что рана была чрезвычайно тяжелая, с большим разрывом кожи, и он был принесен на перевязку изнеможенный от сильной потери крови.

Здекауера попроси, чтобы он известил через Рауха Зейдлица, что офицер Зейдлиц, о котором он меня спрашивал в своем письме, убит под Альмою [...].

№ 26

Севастополь. 22 апреля [1855]

После бомбардирования, о котором я тебе писал, и которое продолжалось непрерывно от 28 марта до 8 апреля, и во время которого выпущено было до полмиллиона снарядов, теперь еще буря не утихла; всякую ночь почти что-нибудь да встречается; ложементы пред третьим бастионом уже в третий раз переходят из рук в руки и теперь остались в руках неприятеля [...] у нас

вдруг привалило до шестисот раненых в одну ночь, и мы сделали в течение двенадцати часов слишком семьдесят ампутаций. Эти истории повторяются беспрестанно в различных размерах. Сегодня пронесся слух, что неприятель сделал опять десант или хочет делать около Одессы, а другие говорят — опять на Альме; но, слава Богу, у нас войска довольно, более чем было 24 октября.

Ты пишешь, что не можешь рано переехать на дачу; ради Бога, и не переезжай рано; я тронусь после половины мая только из Севастополя, если Бог велит, о чем я уже написал Пеликану и вел[икой] княг[ине]; следовательно, прежде последних чисел [мая] или начала июня не могу приехать в С.-Петербург. Вели сначала, прежде чем переедешь, вытопить дом хорошенько. Я не понимаю, как ты получаешь мои письма и я твои. В один день я получил три: от 5, 7, 9 апреля; так, вероятно, и ты мои получишь. Если скотина генерал Гецевич, свиты его императорского величества, не доставил тебе письмо, которое сам вызвался доставить и в котором я поместил еще письмо к Зейдлицу, то надобно непременно о нем справиться в С.-Петербурге и у него достать во что бы то ни стало. Его знает Карелль и велик[ая] княг[иня]. Он выехал отсюда 26 марта и хотел на Святой быть уже в С.-Петербурге. Два письма, посланные после него, ты уже, верно, получила.

Теперь здесь уже настоящее лето; жара, все в цвету, хотя, правда, зелени здесь и немного видишь; весь Севастополь набит теперь войсками. Для чего их держат здесь, выставляя и подвергая бомбам, не знаю, но, вероятно, что-нибудь или приготавливают или сами готовятся. Все, что при бомбардировании было разрушено, теперь опять совершенно поправили. Теперь опять бастионы, как были прежде; правда, у нас выбыло в девять дней тысяч девять из строя; одних ампутаций мы сделали с 27 марта по 21 апреля — до пятисот, но и неприятелю досталось порядочно. Бесплезная резня эта уже, я думаю, не мне одному надоела; бьют друг друга, ничего ровно не выигрывая; все остается, как было; они не решаются на штурм, мы не можем их прогнать. И так все идет без конца; трудно решить, чем все окончится; теперь мы стоим ровно.

Будь же здорова и, ради Бога, не делай ничего, что тебе может повредить. Теперь у вас самое скверное время в Петербурге — лед Ладожский идет. Береги детей также. Прощай, моя несравненная душка, не грусти и не думай [...].

Письмо, может быть, сегодня еще и не отправится, но я спешу его отправить на Северную сторону.

№ 27

Севастополь. 29 апреля [1855]

Все тихо и спокойно. Вот уже третий день, как выстрелы слышатся изредка, и число раненых, вместо сотен в сутки, ограничивается десятками. Только на Северную сторону стреляют из неприятельского лагеря раскаленными ядрами из ланкастеровских пушек. Что значит эта тишина? Бог знает; верно, перед грозой. Неприятель строит одну батарею за другой и после последней бомбардировки значительно приблизился. Одна новая батарея сооружается против четвертого, одна против третьего бастиона. По Театральной площади (на конце Екатерининской улицы) уже нельзя ходить: летают ядра, и потом там проводят траншею, и войска отправляются к четвертому бастиону уже не по прежней дороге. Говорят о предстоящей нам снова усиленной бомбардировке. Между тем город наполнен нашими войсками, полки бивакируют на улицах, и слава еще Богу, что им мало вредят бомбы; куда их денут во время бомбардирования, не знаю, а если они останутся, как теперь, на открытых Улицах, то без вреда не обойдется.

Худые слухи носятся в городе; говорят, что Севастополь будет взят. Но что всего хуже — это раздоры и интриги, господствующие между нашими военачальниками; это я заключаю из разговоров с адъютантами. Сакенские ненавидят горчаковских; друг друга упрекают в пристрастии. Видна также и нерешительность. Когда 20 или 21 числа наши ложементы перед пятым бастионом были взяты [...], неприятель, заняв их, мигом выстроил батарею, воспользовавшись нашими же работами, перед носом четвертого бастиона. Хотели его выбить, но потом опять отдумали. Мы отстояли бомбардировку — правда, но потеряв выбывшими из строя тысяч до десяти и допустив неприятеля ближе. От раненых беспрестанно слышишь жалобы на беспорядок. Когда солдат наш это говорит, так уж, верно, плохо.

Время ли тут интриговать, спорить и рассуждать о том, за что тот или другой получил награду, восставать друг против друга, когда нужно единодушие; а его нет, я это вижу ясно. Это ли любовь к родине, это ли настоящая воинская честь? Сердце

замирает, когда видишь перед глазами, в каких руках судьба войны, когда покороче ознакомишься с лицами, стоящими в челе. Они, не стыдясь, не скрывая перед подчиненными, ругают друг друга дураками [...]. Хорошо говорить самому себе: «молчи; это — не твое дело»; да нельзя, не молчитесь, особливо, когда говоришь с женою.

Так и во всем, так и с бедными ранеными; когда за месяц почти до бомбардировки я просил, кричал, писал докладные записки главнокомандующему (князю Горчакову), что нужно вывезти раненых из города, нужно устроить палатки вне города, перевезти их туда, — так все было ни да, ни нет. То средств к транспорту нет, то палаток нет; а как приспичило, пришла бомбардировка, показался антонов огонь от скучения в казармах, так давай спешить и делать, как ни попало. Что же? Вчера перевезли разом четыреста, свалили в солдатские палатки, где едва сидеть можно; свалили людей без рук, без ног, с свежими ранами на землю, на одни скверные тюфячишки. Сегодня дождь целый день; что с ними стало? Бог знает.

Завтра поеду на ту сторону, так увижу. Когда полковой командир обед дает, так он умеет из этих же палаток залу устраивать, а для раненых, этого не нужно; лежи по четыре человека безногих в солдатской палатке. А когда начнут умирать, так врачи виноваты, почему смертность большая; ну, так лги, не робей. Не хочу видеть моими глазами бесславия моей родины; не хочу видеть Севастополь взятым; не хочу слышать, что его можно взять, когда вокруг его и в нем стоит слишком 100 000 войска, — уеду, хоть и досадно.

Доложи великой княгине, что я не привык делать что бы то ни было только для вида, а при таких обстоятельствах существенного ничего не сделаешь. Ее высочество обещает врачам содержание, какое они пожелают, лишь бы остались; но приехавшие со мною говорят, что они приехали не для денег, и предвидят что без меня их скрутят по ногам и рукам; здесь недостаточно иметь только добрую волю или ревность, нужно еще плясать по одной дудке. Бог с ними и с наградами; если бы я добивался до Станислава, то мог бы его получить и сидя дома, как другие; меня здесь представил Сакен и к Анне, — да мне собственные убеждения о достоинстве и спокойствие духа дороже.

Я люблю Россию, люблю честь родины, а не чины; это врожденное, его из сердца не вырвешь и не переделаешь; а когда ви-

дишь перед глазами, как мало делается для отчизны и собственно из одной любви к ней и ее чести, так поневоле хочешь лучше уйти от зла, чтобы не быть, по крайней мере, бездейственным его свидетелем. Я знаю, что все это можно назвать одной непрактической фантазией, что так более прилично рассуждать в молодости, но я не виноват, что душа еще не состарилась.

Ты знаешь, я никогда не был оптимистом и потому, может быть, и теперь вижу вещи хуже, нежели как они в самом деле; но нельзя не верить тому, что видишь и встречаешь на каждом шагу; когда видишь пред собою не русских людей, единодушно согласившихся умереть или отстоять, а какой-то хаос мнений и взглядов, из которых только одно явствует, что никто ничего не понимает, и всякий подставляет ногу другому: моряки ненавидят сухопутных, пешие — конных, эстляндцы — курляндцев, один упрекает другого в ошибках и в глупости, и всё оставляют на произвол случая.

Может быть, то же делается и у наших неприятелей, — дай-то Бог! Они тоже колеблются: то сделают демонстрацию на Чургун, то высылают корабли на несколько дней куда-то, чтобы опять воротиться; но все-таки они идут вперед и приближаются; это-то и скверно. Настоящая тишина не пред добром, и если после следующего бомбардирования они еще подвинутся, то Бог знает, что будет.

Впрочем, не нужно терять надежды. Право, если взглянуть на эту смесь посредственности, бесталантства, односторонности, низости, то поневоле начинаешь опасаться за участь Севастополя и, следовательно, целого Крыма. Одного только нужно молить, чтобы такая же бестолочь существовала и у неприятеля.

К подобным же экземплярам принадлежит и Геццевич которого ты должна во что бы то ни стало преследовать письменно. Этот подлец сам вызвался отвезти мое письмо и отдать его даже лично тебе; я запечатал в нем письма Зейдлица и к Зейдлицу, полагаясь, что он вернее доставит, чем фельдъегерь, скот до сих пор и глаз не кажет. Узнай в Петербурге непременно, где он находится; напиши ему самое грубое письмо от моего имени; я его в дверь не пушу. Узнать же о нем можно у Карелля и при дворе великой княгини. Он свитский генерал и, как говорят, я узнал это после, взяточник немилосердный. Но письмо мое — не взятка; его нужно вытащить непременно и сделать то, что я там написал, — дать прочесть в Обществе врачей Здекауеру.

Я теперь только одного молю: если не удастся быть свидетелем нашего торжества, то дай только Бог убраться, не бывши свидетелем нашего позора, и уехать из Севастополя прежде его совершенной гибели.

Вино, белье, кофейник и сигары я, наконец, получил третьего дня, т. е. 25 апреля.

Погода до сих пор, целые две недели, стояла превосходная, как у нас в самые лучшие летние дни; со вчерашнего дня пошел дождь, и мои больные, которые третьего дня отправились на Северную сторону, верно, лежат теперь, или лучше — плавают в грязи на своих матрацах. Я сейчас еду смотреть их.

Приехал и видел, что они лежат в грязи, как свиньи, с отрезанными ногами. Я, разумеется, об этом сейчас же доношу главнокомандующему, а там злись на меня, кто как хочет, я плюю на все. О, как будут рады многие начальства здесь, — которых я также бомбардирую, как бомбардируют Севастополь, — когда я уеду. Я знаю, что многие этого только и желают. Это знают и прикомандированные ко мне врачи, знают, что их заедят без меня, и поэтому, несмотря на все увещания и обещания, хотят за мною бежать без оглядки. Достанется и сестрам; уж и теперь главные доктора и комиссары распускают слухи, что прежде, без сестер, с одними фельдшерами, шло лучше. Я думаю, действительно для них шло лучше; я учредил хозяйек из сестер, у которых теперь в руках водка, вино, чай и все пожертвованные вещи, — это комиссарам не по зубам, и потому прежде шло лучше.

Когда ампутированных перевезли и свалили на землю в солдатские простые палатки, я сказал, что они при первой непогоде будут валяться в грязи. Обещали, что этого не будет; сегодня я приехал сам и таскался по колено в грязи, нашел всех промокнувшими; пишу сейчас же об этом начальнику штаба, вот опять это будет не по зубам. Нужно, чтобы было непременно все в отличном порядке — на бумаге, а если нет, так нужно молчать. А мне для чего молчать, — я вольный казак. Хотят на меня скалить зубы и за спиной ругаться, пусть их делают, а все-таки худого хорошим не назову.

Но всё имеет свои пределы; если уже и один главнокомандующий не вытерпел, а сменился, если полки сменяются, то нужно и нас сменить. Врачи, приехавшие со мной, поработали довольно. Они все переболели, многие на моих глазах перемерли; нельзя от них требовать, чтобы они не желали перемены. Сохраничев

умер, Джьюльяни умер. Каде умирал, но каким-то уже чудом ожил. Петров лишился ног. Дмитриев от тифа сделался меланхоликом; у всех был тиф в большей или меньшей степени; я сам прохворал четыре недели. Да хоть шло бы все это впрок, можно бы уже было жертвовать; а то, хоть из кожи лезь, все то же [...]. Хоть охрипни крича, никто не слушает, а как придет в гузно узлом, так тогда опомнится, да уже поздно [...].

№ 28

30 апреля, утро [1855 г.]

Дела покуда все немного еще. На дворе первый день дождь. Севастопольская глина превратилась по обыкновению в клейкую тягучую грязь, которая липнет к сапогам и делает их тяжелыми, как пудовые гири. Можно себе представить, что делается в траншеях, вырытых также на глинистой почве, и в больничном лагере, где раненые лежат в простых солдатских палатках, по четверо в каждой, без ног, без рук, на матрацах холстинных, набитых лыком, и лекаря перевязывают, стоя по колена в грязи. Вот улучшение, на которое мы надеялись от прибытия Южной армии Горчакова. Госпитальных палаток, суконных, крытых парусиной, в которых уставляется по тридцать — сорок коек, как это сделали морские (заботящиеся более о своих) для своих, вовсе нет; есть десяток каких-то изорванных, — взяли солдатские для раненых, не обкопали их канавами, не устроили в них нары.

Я, раздосадованный, вчера, встретясь с Коцебу, жаловался. Но этот маленький человечек, напоминающий собою русскую поговорку — у всякого Ермишки есть свои интрижки, — раздобрился: как можно найти в его управлении что-либо недостаточное; но я ему сказал наотрез чистым российским наречием:

— Вы, де, Павел Астафьевич, менее моего в этом деле смыслите, и я вам говорю попросту, что в палатках чистое свинство.

Он потом притворился, что будто меня не понял, что я говорю о солдатских палатках, а не о госпитальных навесах, — в которых больным всегда лучше летом лежать, нежели в лазаретах, и в которые я сам же предлагал и настаивал перенести больных; притворясь, он напустил[ся] на генерал-гевальдигера [...]; генерал-гевальдигер всю вину спустил на генерал-штаб-доктора; короче, как всегда, сам черт не разберет, кто прав, кто виноват.

Такого рода увеселительные историйки повторяются здесь частенько и, разумеется, весьма способствуют к поддержанию ревностной службы для блага ближних. Когда же после всех этих проделок, после вопиющих недостатков и пошлости администрации, неминуемо откроется большая смертность между больными, то остаются виноватыми врачи, для чего они плохо лечили; изволь лечить людей, лежащих в грязи, в нужниках, без белья и без прислуги; но врачи, действительно, виноваты, что они, как пешки, не смеют пикнуть, гнутся, подличают и, предвидя грозу от разъяснения правды, молчат, скрывают и разыгрывают столба. Вчера же я получил и письмо от ее высочества, где она предлагает остаться мне или врачам для блага Общины и раненых.

Нет, если было трудно справляться, когда здесь была одна главная квартира, то еще труднее стало теперь с прибытием Южной армии, с ее главной квартирой, со всеми интригами, интриганами и другими необходимыми принадлежностями; врачи это видят всякий день, и всякий из них более ни о чем не думает, как дать тягу вслед за мной. Страшит не работа, не труды, — рады стараться, — а эти укоренившиеся преграды что-либо сделать полезное, преграды, которые растут, как головы гидры: одну отрубишь, другая выставится. Поблаговари ее императорское высочество за ее хорошее обо мне мнение, но быть мертвой буквой я не могу, у меня и так много недругов; наживать еще больше хотя и не страшусь, но без всякой пользы для других и себя не желаю.

Хотя и носятся различные слухи о возможности пасть или устоять Севастополю, одни твердо уверены, что он не может пасть, когда есть у него под боком стодвадцатитысячная армия; другие говорят, что он в большой опасности и не устоит; но то верно, что скоро дело не решится. Нашла коса на камень; пошлостей и подлостей, верно, поровну на обеих сторонах, — у кого больше, тот и проиграет, или, может быть, тот и выиграет; но нам не дожидаться. Да и около Петербурга не совсем спокойно; это меня тоже заставляет уехать. Поблаговари еще раз и выскажи всю правду ее высочеству так же, как и я скажу ее всякому, кому о том вестать надлежит.

Прощай еще раз, моя несравненная душка, а у Геццевича-подлеца вытащи письма хоть зубами.

№ 29

3 мая [1855]. Севастополь

Все еще тихо. Погода великолепная. Наши делали вчера две вылазки, но незначительные, больше для того, чтобы узнать, что делается у неприятеля в ложементах. Опять слухи стали надежнее; опять говорят более, что Севастополь не будет взят. Северная сторона сильно укреплена. Да, если подумаешь, то, право, стыдно и сомневаться в успехе, имея здесь под руками сто двадцатитысячную армию; еще, говорят, идет сюда милиция из соседних губерний. Но я тебе уже писал, как здесь слухи неверны от господствующих интриг и партий; не узнаешь, наверное, и того, что под носом делается, а еще менее того, что делается под землей, где беспрестанно и неприятельские и наши мины.

Теперь проходят иногда целые недели без выстрела, и если стреляют, то все на Северную сторону больше и то калеными ядрами, вероятно, направляя их на корабли, куда, однако же, они не попадают.

Дело с ранеными в палатках, о котором я тебе писал, кончилось тем, что туда приехал, по моей жалобе, сам главнокомандующий и распек генерал-штаб-доктора и генерал-гевальдигера так, что генерал-штаб-доктор чуть не упустил в штаны и на вопрос главнокомандующего, сколько больных в Симферополе, ответил на удачу:

— Теперь очень уменьшилось, ваше сият[ельство]: было восемьсот, а в настоящее время четыреста.

— Как, четыреста в сутки? — спросил гневно князь.

— Нет-с, ваше сиятельство, в неделю.

— В неделю... Однако ж, это порядочно много.

— Извините, ваше сиятельство, в месяц.

— А, хорошо! — сказал удовольствованный князь, садясь на лошадь.

Я посмотрел и пожал плечами. Низкая ложь, без стыда, чтобы загладить гнев начальника, уменьшает разом на целые сотни, в глазах всех знающих и не знающих дело.

Как у нас не хотят этого понять, что, покуда врачи будут находиться в такой зависимости от военначальников, что трясутся от одной мысли прогневать их, до тех пор ничего нельзя путного ждать, и если я принес пользу хоть какую-нибудь, то именно потому, что нахожусь в независимом положении;

но всякий раз нахрапом, производя шум и брань, приносить эту пользу — не очень весело. Тут никто и не подумает, что это делается для общей пользы, без всяких других видов; думают сейчас, что это личности. Потому что у нас нигде других причин нет; других мотивов, кроме личных, не существует. Это я знал и прежде, но теперь знаю это еще тверже.

Я понемногу собираюсь в дорогу, с приятным убеждением, что Севастополь не будет взят, а если падет, то не от недостатка мужества, а от интриг и личностей. Посмотрим, что будет делаться на Балтийском. Я не знаю, как можно от меня ожидать, чтобы я, пробыв шесть месяцев в осажденном городе, еще бы вздумал без нужды оставаться в нем тогда, как война, может быть, такая же, будет свирепствовать около мест, где находится мое семейство и где я столько же могу быть полезным, но с большей приятностью для себя, что буду находиться с моими или вблизи моих. Как можно требовать от молодых людей, которые были ежедневно свидетелями различных козней, сплетней и прижимок, чтобы они произвольно подверглись всем следствиям такого быта без защитника, тогда как на них смотрят, как на пришлецов, и тогда, как они со мной до сих пор пользовались полной независимостью от чиновнических притеснений властей. Их можно принудить остаться, но что же из этого выйдет: ревность их будет парализована, и их забывают.

Когда я выеду, я напишу тебе, и, чтобы избавиться всех официальных и неофициальных посещений, лучше будет, если перееду прямо на дачу. Только ты не спеши, еще успеешь, и, ради Бога, переезжай здоровая.

Машу поздравь с сыном. У Геццевича отыми письмо. Кланяйся всем знакомым. Целуй и благослови детей. Прощай, моя милая душка. Будь здорова.

№ 30

Севастополь. 14 мая [1855 г.]

Я дожидаюсь только письма от великой княгини и от Пеликана, чтобы уехать, а то совсем уже собрался. Пеликан мне писал, что должен о моем отъезде [довести] до сведения министра и выше и просил дождаться ответа; ответ же от велик[ой] княг[ини] нужен, чтобы решить участь врачей, которые не хотят оставаться без меня.

En attendant* было здесь опять огромное побоище, и наша работа продолжалась два дня и две ночи. Было две тысячи раненых и до 800 убитых; французов, говорят, вдвое было ранеными и убитыми. Наши вздумали провести новую траншею от пятого к шестому бастиону и задумали построить новые батареи; французы сопротивлялись этому; было в бою до десяти тысяч с нашей и столько же с их стороны. Французская гвардия побежала, дрались штыками в траншеях и несколько раз выбивали из них друг друга, в ночь с 10 на 11.

В первую ночь наши удержали траншею за собой, а на другой день оставили опять. Что теперь из этого будет, не знаю и, вероятно, не дождусь конца. Я не спал две ночи и два дня и только сегодня, выспавшись, принялся за письмо. Письмо Пеликана от 26 апреля я получил третьего дня и ожидаю на днях обещанного им ответа. Коль скоро получу решение, так тотчас же и поеду. Грустно смотреть на Черное море, водой которого я всякий день обливаюсь два раза; на нем только и видишь, что французские и английские корабли; наши лежат под водой и только шесть стоят еще налицо с тремя или четырьмя пароходами.

Теперь здесь несосветимая жара. Показывается опять холера, и есть до ста больных; она есть и в неприятельском лагере. После третьегоднешнего жаркого дела опять все затихло, и сегодня не слышно ни одного выстрела. Французы не позволили убирать наших убитых в траншеях и своих не убрали, по видимому, целых два дня, несмотря на то, что с нашей стороны выкидывали три раза парламентерский флаг; они свой не поднимали, и потому с убитыми лежали целые два дня некоторые из наших раненых без воды и неперевязанные. Это делали, вероятно, для того, чтобы убрать втихомолку своих убитых и тем показать, что у них меньше убили, чем у нас. Раненые, лежавшие целые два дня, рассказывают, что неприятель вошел целую ночь, сбирая своих.

Один солдат, наш раненый, рассказывал, что он просил у одного француза напиться, показывая ему рукою на небо, но он в ответ ему плюнул. Какой-то другой раненый, англичанин, лежавший около него, сжалился над ним, дав ему воды из манерки и галету.

Наши дрались в этот раз славно, забегали и на неприятельскую батарею. Горчаков благодарил их на другой день, сказав:

* Пока.

— Вот видите, ребята, у вас не могли отнять французы и эту траншею, что же и говорить о городе.

Ты не поверишь, как мне здесь надоело смотреть и слушать все военные интриги; не нужно быть большим стратегом, чтобы понимать, какие делаются здесь глупости и пошлости, и видеть, из каких ничтожных людей состоят штабы; самые дельные из военных не скрывают грубые ошибки, нерешительность и бессмыслицу, господствующую здесь в военных действиях. Многие даже желают уже Меншикова назад. Если нам Бог не поможет, то нам не на кого надеяться и надобно подобру да поздорову убраться. В Петербурге, верно, не имеют настоящего понятия о положении дел здесь и, как обыкновенно, не знают хорошо личностей. Куда-нибудь уехать в глушь, не слышать и не видеть ничего, кроме окружающего, теперь самое лучшее. Если прислушаться, то голова идет кругом от всех глупостей и безрассудностей, которые узнаешь. Сего же дня подаю записку Горчакову об отправлении меня и других врачей, приехавших со мной, в С.-Петербург. Итак, если ты не получишь другого письма после этого, то это будет значить, что я в дороге. Если же встретится какое-нибудь неожиданное препятствие, то я тотчас же тебя уведомя.

Прощай, моя душка, до свидания. Целуй и благослови детей наших. Прощай еще раз.

17 мая

Я собираюсь в дорогу, но еще пробуду с неделю здесь. Керчь занята французами. Главная квартира выступает завтра из Севастополя, — куда — Бог знает. Спешу окончить. Прощай.

№ 31

31 августа [1855 г.]. Симферополь

Я сюда приехал три дня тому назад и остаюсь еще, вероятно, до завтра. Один акт трагедии кончился; начинается другой, который будет, верно, не так продолжителен, а там — третий. Вероятно, еще до зимы будет окончен и второй акт.

Об себе ничего не говорю; можно ли при таких событиях говорить о себе? Где я буду, не знаю; останусь ли на Северной стороне при главной квартире, или буду сидеть в Симферополе, или на Бельбеке, — ничего не знаю; все решится по приезде в главную квартиру. Сегодня я не расположен более писать. После,

Бог даст, если буду жив и здоров, все напишу, что увижу, и по свидетельству очевидцев.

Прощай, мой неоцененный друг. Сегодня обедал у Сухарева. Сестра Красильникова не так здорова и не переносит климата хорошо. Твой.

№ 32

8 сентября [1855 г.]. Бельбекская долина

Около недели я поселился в татарской сакле, около одной версты от госпитальных палаток, раскинутых в долине между Бельбекскими возвышениями, на берегу реки Бельбека, в шести верстах от Севастополя. Мы окружены со всех сторон горами, виноградниками без винограда (истребленного уже давно солдатами) и пирамидальными тополями. Сыро и, по временам, порядочно холодно; клейкая и склизкая грязь едва позволяет передвигать ноги; вода в речонке Бельбек также сущая грязь; но когда проглядывает солнце, то все поправляется.

Больные, большею частью раненые после последнего штурма, лежат в солдатских палатках и госпитальных навесах, большей частью без коек, на матрацах, посланных на земле; по вечерам и в сырую погоду в солдатских простых палатках лежащим на земле было невыносимо холодно; одеял не доставало, полушубки еще не розданы; я не знал, как поправить дело, и пошел, более по инстинкту, нежели с намерением, заглянуть в цейхгауз; к моему удивлению, я нашел там еще несколько сложенных палаток и не развязанных тюков; оказалось, что было еще 400 одеял, которые добродетельное комиссариатство госпиталя не распаковало, остерегаясь излишней отчетности. Теперь почти все больные прикрыты двойными палатками и всем розданы одеяла.

Белье еще у многих грязно, и я сделал замечание г-же Стахович, что она плохо смотрела и не настаивала, чтобы сестры, перевязывавшие больных, более заботились о белье; у них есть еще 2000 рубах, да в госпитале 1600, а больных было до 2000. Оказывается, и аптека, находящаяся в руках сестер, не в порядке. Сестер теперь много относительно к числу больных, а порядку меньше. Стахович оправдывается тем, что она несколько раз требовала от госпитального начальства, чтобы оно выдало белье и пр., но ее не слушали; я ей говорил на это, что ее долг тотчас же донести по команде и требовать до тех пор, пока удовлетворят.

Какое ей дело, что на нее за это озлятся; разве она за тем здесь, чтобы снискивать популярность между комиссариатскими и штабными чиновниками?

Но не долго можно будет здесь оставаться; более месяца госпиталь не может простоять; и в саклях, где размещены раненые офицеры (генерал Хрулев, Ренненкампф) и где мы помещаемся, печей нет, нет потолков, нет и пола, и окон настоящих нет, так что, если саклю можно назвать еще домом, то потому только, что есть стены и кровля. Вообще наступает самое плохое время. Распоряжений еще решительно, как и всегда, никаких нет. Главная квартира переезжает в Бахчисарай, а госпитальные шатры остаются еще в двух местах: в четырех и шести верстах от Северной стороны Севастополя; больных, однако же, перевозят ежедневно, и в Симферополе, когда я был там, накопилось уже до 13 000; с транспортом теперь начнутся прежние бедствия. Хорошо еще, если успеют до октября месяца всех вывезти, пользуясь [тем, что] теперь тишина и спокойствие господствуют около Севастополя.

Нужно бы было сделать воззвание, чтобы вся Россия присылала войлоки, рогожи, одеяла, белье и полушубки для транспортирующихся раненых; сена здесь и теперь уже почти нет, соломы и подавно; придется их класть так же, как прошлого года, на голые телеги, которые теперь прикрываются рогожами; Виельгорский употребил уже более 6000 руб. сер. на покупку этих рогож, которых здесь трудно найти, но это служило более к защите от солнечного зноя, нежели от осеннего холода. Нужны войлоки; не худо бы было иметь и суконные шапки с ушами в запасе, для головы; солдатские фуражки не греют и легко сваливаются.

На этих днях я видел две знаменитые развалины: Севастополь и Горчакова. Бухта разделяет одну от другой.

Долго смотрел я с Северного укрепления и с верху батареи № 4, и простыми глазами и в трубу, на Малахов курган, на Корабельную, на Николаевские казармы, на Павловский мысок, на Дворянское собрание и на мое пепелище. На кургане заметил только редуты без людей и без движения, на Корабельной видел пустые улицы между обгоревшими домами, Николаевские казармы внутри обгорели, но снаружи целы и не взорваны, на Николаевской площади стоят уже неприятельские мортиры, из которых пускаются иногда на Северную сторону бомбы; около казарм и на Графской площади разъезжают и прохаживаются безбоязненно

красные штаны; на Павловском мыске вместо укрепления виднеются две огромные кучи камня и песку, оставшихся после нашего взрыва.

От Дворянского собрания, где я столько времени жил и действовал, остались только стены и несколько колонн. В домик, напротив артиллерийской бухты, где я квартировал, вскоре — после моего отъезда влетела бомба и отбила весь угол, где стояла моя кровать, пронизав его насквозь сверху до низу. Исключая Графскую площадь и Никол[аевские] казармы, в городе — между обгоревшими домами не заметно никакого движения. И с нашей стороны и с неприятельской возводятся новые батареи; из бухты торчат мачты вновь затопленных кораблей. Матросы еще иногда шныряют на шлюпках вдоль нашего берега около затопленных пароходов. Но почти все убеждены, что Северная сторона не будет долго держаться, и бухта будет в руках неприятеля; Северная сторона будет под перекрестным огнем батарей и флота; почти все войска выведены, оставлены только несколько для работ и матрасы в батареях.

Посмотрев на Севастополь, я отправился посмотреть и на Горчакова и нашел его, к моему удивлению, одного, без Коцебу; но вскоре это необыкновенное явление объяснилось: Коцебу в этот день уехал к своей жене, которая недавно прибыла на Бельбек. Вместе с разрушением Севастополя произошли изменения и в наружном виде гения отступления. Шапка, которая прежде надевалась им на затылок, теперь надевается почти на самый нос, так что можно различить только одну нижнюю часть лица; очки и усы покоятся под тенью бесконечно длинного козырька. «Un quart d'heure de conversation»* продолжалась около часа, состояла из отрывков и кончилась дежурным генералом.

Отобедав у Горчакова, я должен был обратиться к землянке этого представителя врачебной науки при штабе, который встретил меня твердо выученным наизусть отчетом о состоянии госпитальной части. Я без обиняков показал, что ничему не верю, и хотел уже уйти, как вдруг дверцы землянки распахнулись, и белая фуражка с огромным козырьком, надвинутая на нос, быстро влетела, бормоча с непостижимой скоростью:

— Какой дурак писал у вас эту бумагу? Где 2-й батальон десятой дивизии? А?

* Беседа в четверть часа.

— Это ошибка, ваше сиятельство, — сказал дежурный генерал, вскочив со стула и вытянув руки по швам.

— То-то — ошибка; тут все ошибки. Дайте переписать.

— Извините, ваше сиятельство, кроме этой ошибки других нет.

— Да почему же вы знаете, что нет?

Трудно было отвечать на это положительно, и белая фуражка с длинным козырьком также поспешно выскочила из дверей, как и вскочила.

Не добившись толку, где будут госпитали в позднюю осень, будут ли и когда будут готовы бараки, заказанные в Николаеве, я отправился уже поздно вечером домой с обещанием, что получу список всех врачей, употребляемых в госпиталях, при транспортах и т.п. по приказанию Горчакова, но до сих пор его еще не получил. Что будет — увидим; покада ничего более не остается, как довольствоваться плохим настоящим и удивляться прошедшему.

Третьего дня приехала сюда г-жа Хитрово из Одессы, и не кажется, что она благотельно подействует на будущую судьбу общины. Я ей изложил мои взгляды, просил ее смотреть на общину не просто, как на одно собрание сиделок, но видеть в ней *будущую нравственную контроль* нашей хромой госпитальной администрации и с этой целью вникнуть во внутренние дела общины и в характер лиц, ее составляющих. Мне понравилось, что она при мне же остановила одну сестру, которая, привыкши называть свою начальницу превосходительством, обратилась и к ней с этим же титулом.

— Я не превосходительство, а такая же сестра, как и вы, — отвечала Хитрово.

Ожидая с нетерпением от нее, что она хорошо разузнает, и надеюсь, что с ней можно будет положить прочную основу общине.

Что тебе сказать про мое житье? Я решил здесь жить не раздеваясь; не снимаю платье ни днем, ни ночью, — это гораздо спокойнее.

Сегодня покупаю лошадь: по здешней грязи нет возможности ходить пешком. Прощай, моя душка [...]. Будь здорова, и терпелива; не унывай, молись; целуй и благослови детей. Еще раз прощай, моя неоцененная. Твой.

№ 33

Бахчисарай. 17 сентября [1855]

Я тебе опять ничего не пишу положительного, моя душка, где я буду и долго ли на одном месте. Вчера на Бельбеке, сегодня в Бахчисарае, завтра в Симферополе; куда писать и адресовать письма, сказать не могу. Пиши в Главный штаб. Живу то в сакле, то в палатке, то в комнате. Езжу верхом и для того купил себе лошаденку, именуемую Чертенком, которая мастерски виляет иноходью, так что не устанешь. От тебя получил два письма, и оба вместе. Погода здесь стоит чудная; на дворе лучше, чем в комнате. Здесь покуда все тихо. Северную сторону бомбардируют, но пока не сильно; раненых не более четырех-пяти в день; беспрестанные передвижения войск, и главная квартира теперь в Бахчисарае.

О квартире контракт должна заключить контора госпиталя.

Но о комиссариатских прогонах поручи кому-нибудь подельнее и поважнее сделать справку: действительно ли прошлого 1854 года 25–26 октября отпущено из комиссариата в Военно-медицинский департамент для выдачи мне двойных прогонов до Севастополя только 600 руб. серебром. Если так, то почему же в нынешнем году 1318 рублей? Сначала нужно узнать положительно, комиссариат ли у меня оттянул или Военно-медицинский департамент?

Я посылаю к тебе два бланкета за моею подписью; один для написания рапорта генерал-кригс-комиссару, или отношения в самый комиссариат, или же в департамент о выдаче мне недоданных двойных прогонов в 1854 году; для этого попроси распорядиться или Вас[илия] Мих[айловича] или же Михельсона. Бумагу написать просто, лишь бы узнали, где сделано воровство, сделав сначала справку в комиссариате. Второй бланкет для Сартории. Напиши хоть сама: В Конференцию императорской медицинско-хирургической академии от академика Пирогова. Прошу выдать столько-то г. Сартории из суммы, означенной для издания анатомических таблиц.

Вино я получил. Обермиллер в Николаеве и писал мне недавно. Великие князья останутся там, может быть, весь октябрь и займутся укреплением. Пора бы. Государь в Николаеве.

Прощай, моя душка. Будь здорова и спокойна. Твой навеки.

№ 34

22 сентября [1855]. Симферополь

Я приехал сюда уже около недели и еще здесь останусь, вероятно, несколько недель, потому что теперь сюда направлены все больные и раненые; все госпитали, исключая Бахчисарая и Бельбека, уничтожены, и в Симферополе, в городке, где 12000 жителей, теперь 13000 больных, и из них — 7000 раненых. Ты, моя душка, я думаю, можешь одно письмо написать сюда в Симферополь; впрочем, Бог знает; теперь с часа на час ждут все, что мы оставим Крым и не будем в нем держаться; неприятель ведет новую дорогу из Байдарской долины к Бахчисараю.

Горчаков сидит в восьми верстах от Бахчисарая, в Ортокаралесе, а Сакен стоит на Мекензиевой горе. Северную сторону продолжают бомбардировать и довольно сильно; когда я был там, то едва прошел несколько шагов от Северного укрепления к Константиновской батарее, как упало с десятков бомб; но вреда они вообще причиняют мало; загорелся один магазин с мукой и горел целую неделю.

Убивают или ранят бомбами ежедневно человека четыре, не более, да и весь гарнизон наш на Северной стороне состоит из 2000 моряков да милиции; неприятель не налегает крепко, да и мы там держаться в случае сильного напора не будем; беспрестанные неудачи; недавно французы, высадившись снова в Евпатории, заняли Саки, прогнали наши кавалерийские аванпосты и захватили шесть пушек; по рассказам раненых, они преследовали наших десять и более верст; теперь неприятель со стороны Евпатории в сорока верстах, а со стороны Южной так же не более, как в сорока верстах от Симферополя; а в Симферополе — все наши провиантские склады, заготовленные на всю зиму; от Евпатории до Симферополя — гладкое место, степь, с Южной стороны — гористо; потом они ведут новую дорогу и говорят, быстро подвигаются вперед.

Горчаков, как кажется, окончательно растерялся и двигает войска беспрестанно с места на место, как шашки, то сюда, то туда, утомляет и поселяет недоверие. Дух в армии упал, никто не верит; после стольких ошибок и неудач доверие исчезло. В течение четырех недель, верно, будет что-нибудь решительное: неприятель хочет, как кажется, ударить с двух сторон (с Евпатории и с Байдарской долины) на Бахчисарай и Симферополь и таким

образом овладеть не только Северной стороной Севастополя (о которой теперь уже и мало заботятся), но и Крымом.

Я бы советовал Горчакову поскорее отступить — он на это мастер, — за Перекоп и оттуда уже вести войну. В Крыму он запутается, и его окружают или отрежут непременно.

Погода здесь стоит превосходная, на дворе жарко. Я, живши в палатке и в сакле, здесь переехал в комнату, и каждый день приходится осмотреть до 800 и до 1000 раненых, рассеянных по городу в пятидесяти различных домах.

Ее высочеству вел[икой] княгине я по последней почте послал подробное донесение об общине, дела которой разбирал с Кат[ериной] Ал[ександровной] Хитрово, приехавшей сюда по поручению вел[икой] кн[язини] из Одессы; оказалось ясным то о чем я прежде только догадывался; все несогласия и интриги в общине происходят не от кого более, как от начальницы; она, видя теперь грозу, поднимет небо и землю и будет через своих клеветников действовать на великую княгиню, но я ей все высказал, что узнал, и твердо уверен, что для блага общим нужна другая начальница.

Кроме госпиталей и общины, меня занимают теперь особливо транспорты, которые отходят отсюда почти ежедневно; если бы ты знала, что тут делается, если бы ты услышала все рассказы о злоупотреблениях и грабежах, производимых транспортными начальниками, так у тебя волосы бы встали дыбом.

Государь встретил один такой транспорт около Кременчуга и нашел, что недостаточно одного полушубка на трех больных, а если бы он знал, что в других транспортах, кроме изорванной и истертой шинели, ничего не дается для прикрытия даже трудных больных, что бы он сказал тогда?

Целые миллионы стоит эта перевозка больных и, несмотря на то, она в самом жалком первобытном состоянии; уже не говоря об удобствах, больные не снабжены даже порядочной водой на дорогу; они мучаются от жажды и потом на какой-нибудь станции бросаются с жадностью на колодцы, наполненные соленой водой, — других нет между Перекопом и Симферополем; дрожат от холода, останавливаясь ночевать в холодные ночи под открытым небом, в телегах. Я послал в первый раз четырех сестер с транспортом и поручил одной из них, к которой я более имею доверие, — Бакуниной, — осмотреть все на этапах и передать мне свои замечания.

Очень кстати было сделано, что со мной отправилось несколько врачей; им хотя и не предстоят такие труды, какие были при осаде, но множество других в другом роде; здесь приходится на одного врача по 180 и по 200 больных перевязочных; если бы положить самое меньшее пять минут на перевязку каждого (когда у Маши палец болел, то перевязка продолжалась более четверти часа, а я кладу пять минут на перевязку отрезанной ноги или руки), то нет физической возможности, чтобы он осмотрел всех; между тем в Крыму теперь слишком 100 военных и гражданских врачей, а больных всего около 20 000; следовательно, приходилось бы только по пятьдесят больных на каждого врача, если бы деятельность их была распределена равномерно; вот образчик нашей распорядительности; вот чего я добивался у правительства: чтобы оно обратило внимание на такие вопиющие недостатки, а про меня разгласили, что я хочу быть главнокомандующим.

От тебя я получил последнее письмо от 29 августа и вместе с другим от 25 августа, так что я ничего не знаю, что у вас делается.

№ 35

29 сентября [1855]. Симферополь.

Последнее твое письмо, моя душа, я получил от 9 сентября, иначе и быть не может: оно ходит из одного места в другое, пока дойдет до меня. Я покуда все еще в Симферополе, где число больных — 2000 — все еще не убавляется. Мой штаб рассеялся по всему городу; пятеро, однако же, живут в одной квартире со мной.

Время здесь стоит превосходное: тепло и жарко, как в Петербурге в июле. Ты не поверишь, какое я всякий день съедаю количество винограда; фунтов по пяти, и, несмотря на то, не замечаю действия невской воды; обливаюсь всякий день холодной водой в татарской бане; живу в маленькой комнате окнами в сад; целое утро до четырех часов занят, а вечером постоянно в дамском обществе; всякий день ко мне является Екатерина Александровна Хитрово, посланная сюда вел[икой] княг[иней] из Одессы по делам общины; с нею я изучил в это время так все характеры общины по собранным ею сведениям, что знаю всех сестер наизусть, все сплетни, взгляды и интриги; не худо, если бы вел[икая] княг[иня] поскорее разрешила отправить, сестер в транспорты с больными; тогда бы Стахович уехала вместе со

своею партией, и можно бы было действовать без шума. Покуда в виде опыта я поручаю начальство в Симферополе вновь прибывшей Карцевой.

Я совершенно с тобой согласен, чтобы ты письма не разглашала, хотя нужно некоторые сообщить т-е Раден, по твоему усмотрению.

Долго ли будет продолжаться военное бездействие — Бог знает; неприятель (я, кажется, уже тебе писал) ведет дорогу из Байдарской долины через ущелье, куда — еще неизвестно; кажется, и главнокомандующий сидит и караулит, что будет. Северную сторону бомбардируют еще, запасы из нее все вывезены, и потому, вероятно, ее скоро оставят. Государя ждали, было, сюда, но, говорят, Горчаков отсоветовал. В Одессе на рейде явились третьего дня 80 кораблей. В течение месяца, должно решиться, останется ли Крым за нами или нет; но, судя по видимому, наши дела плохи. Коль протянутся, так авось поправятся.

Получил от тебя два ящика из Москвы с разбитою банкой пикулей и с истертыми сигарами, но и за то спасибо. Вино уже я давно получил.

Теперь я занимаюсь транспортами больных особливо, которые отсюда идут всякий день и скоро сделаются от холода и дорог почти так же худыми, как и прошлого года. Надобно бы заблаговременно распорядиться, о чем я уже Горчакову и писал, но от него покуда, как от козла: ни шерсти, ни молока. У нас стоит четыре лошади собственных наготове; хотим купить еще пару верблюдов на случай бегства.

Что-то ты делаешь, моя душка? Я только надеюсь на Бога, на почту нечего надеяться, и рассуждаю так: если хорошее, то рано или поздно узнаю, а если дурное, то чем позднее узнаешь, тем лучше [...] теперь, кроме моей возни с госпиталями, с сестрами и с транспортами, я ни о чем более не думаю, не слышу и не вижу. В свободное время думаю о моей душке и детях, но стараюсь, подумав, скорее перейти на что-нибудь другое [...].

Кланяйся всем, целуй Машу. Прощай [...].

№ 36

6 октября [1855 г.]. Симферополь

Письмо от 14 сент[ября] получил сегодня. Оно скиталось долго, покуда до меня дошло. Теперь пиши лучше в Симферополь; я

здесь еще пробуду недели две, а если и уеду, то все-таки скорее найду письмо здесь, чем где-нибудь.

Табакерку отдай аптекарю, которого знает Шульц и Фробен (аптекарь в Горном институте, 19 лин[ия] Вас. остр.); если нужно письмо к Перовскому, то пусть он сделает, как тогда с первой табакеркой.

Здесь погода все еще стоит прекрасная, какая редко и в июле в Петербурге. Виноград продолжаю есть по целым фунтам.

От вел[икой] княг[ини] еще никакого не получил ответа, и это останавливает ход дел. Я принялся с энергией за общину и очистил бы ее так, чтобы вел[икая] княг[иня] осталась довольна, если она желает, чтобы заведение имело будущее, а не настоящее. Всякий вечер до первого часа я провожу с Хитрово, Бакуниной и Карцевой — три столба общины.

Я не понимаю, как вел[икая] княг[иня] с ее умом и желанием добра могла послушать наветов на Бакунину; это удивительная женщина: она, с ее образованием, работает, как сиделка, ездит с больными в транспорты и не слушает никаких наветов; держит себя, как нужно даме ее лет и ее образования. Хитрово — опытная женщина, по делам общины мне много помогает и сообщает многое, чего я не знал, не занимаясь общиной, т. е. внутренним бытом, так, как теперь. Карцева принялась совестливо за дело, и мы в семь дней так поставили запущенный госпиталь на ногу, что теперь не узнаешь. Отдали вместе с нею смотрителя под следствие, завели контрольные дежурства из сестер, и обо всем каждый день она приходит мне сообщать отчет.

Стахович с ее отделением сестер, состоящим из малообразованных бабок, желающих возвратиться в Петербург, я устранил, или лучше, она сама устранилась от дела; она умела только интриговать и кричать про себя; *une poissarde** в полном смысле, без взгляда, без чувства, держалась только своей кажущейся распорядительностью и все, что было выше и лучше ее, старалась подавить. Недаром я всегда не имел к ней доверия, но устранился от неприятностей с нею, думая, что она хоть со временем поймет настоящее высокое назначение общины; не тут-то было; она смотрела на все с одной стороны и хотела только блистать и важничать. Ее удаление вместе с первым отделением необходимо, и я жду с часу на час разрешения от великой княгини.

* Грубая женщина.

Если вел[икая] княг[иня], несмотря на все доказательства, с моей стороны и со стороны Хитрово, не захочет расстаться со Стахович, то я оставлю общину; я дорожу слишком будущим общины и моим именем. Вникнув теперь во все подробности, я вижу, что только там исполнялось совестливо все, что вело к достижению настоящей цели общины, где дела сестер производились при мне, или где были дельные старшие сестры, а не там, где действовала сама Стахович, которая смотрела на сестер, как на сиделок, требовала только от них, чтобы лизали ее ручки, и тех и отличала, которые обращались к ней с подобострастием; к этой же категории принадлежала и старая дева Лоде, которая с своими ахами и сладкой сентиментальностью оставляла больных только что не на один произвол божий; я ее порядочно отделал, когда был в Бахчисарае, сказав, что мне не разговоры ее нужны, а дело.

Крымские дела идут по-прежнему; ничего нового, почти все больные свезены теперь в Симферополь и отсюда постепенно транспортируются, покуда кое-как прикрытые рогожами, купленными комитетом уже на 12000 руб. сер., а потом, к осени, и еще хуже. Главная квартира в Ортокаралесе; я ее бомбардирую докладными записками, а дела остаются все по-прежнему. Только еще община, в которой я вижу возможность сделаться лучше, идет, а то все стоит или лежит. Раненых свежих мало, потому что бомбардировка на Северной не слишком сильная; войска еще передвигаются с места на место, как шашки. Будущее, как и всегда, неизвестно. День я занят в госпиталях и читаю лекции собравшимся здесь врачам, а вечером занимаюсь делами общины. — О политике ничего не слышу и не читаю, — черт с ней.

Зачем ты так худо думаешь о Коле? Ты знаешь, что это моя слабая сторона, — будто бы он от тебя с возрастом удаляется; к чему это? К чему, действовав так совестливо и так горячо, как ты, пугаться и сомневаться? Вырастая, он, напротив, должен все более и более к тебе привязываться, убеждаясь не одним сердцем, но и рассудком, что ты для него была и что сделала для него. Разве у него худое сердце, разве он мне не сын, разве он не чувствует, если и не видит ясно, как ты думаешь, сколько я дорожу его привязанностью и любовью к тебе и твоей к нему? Это злая мысль в тебе, зависящая от истерики, а не от сердца. Прощай, моя милая душка.

Письмо к m-е Раден запечатай и сейчас же отошли.

№ 37

Симферополь. 14 октября [1855 г.]

Последнее письмо от 14 сентября, кажется, милая Саша. Я пишу регулярно каждую неделю; писал бы и чаще, но община берет у меня много времени. Скажи фр[ейлен] Раден, что Стахович с ума сходит, и если ее отсюда не возьмут, то я оставляю общину на произвол Божий; это такая *poissarde*^{*}, какую только свет производил. С ней хотят сделать все мирно и ладно, а она способна только кричать на рынках. Если бы не Карцева, не Бакунина, не Хитрово, то я бы счел низким для себя иметь с ней дело.

Здесь все по-прежнему; но в октябре, верно, решится, удержим ли Крым на зиму за собой или нет; неприятель делает беспрестанные диверсии, показывается то там, то здесь, так что, я думаю, у Горчакова беспрестанный понос.

Мы живем здесь, слава Богу, не худо, занимаемся дельно; в госпиталях, где теперь сестры, все идет прекрасно. Бакунина, очерненная у вел[икой] княг[ини] Стахович, ездит с транспортами до Перекопа; труды дороги, ночи в аулах, постоянное наблюдение за больными ей нипочем — редкий характер; нельзя не уважать. Тоже и Карцева, которая, не помню, при тебе или без тебя, была у нас в Ораниенбауме; несмотря на то, что мала ростом, так славно работает в госпиталях, что любо смотреть. Теперь только я узнал все интриги и сплетни общины, — нечего сказать, уживчивы женщины! Но утешительно то, что есть еще нравственная власть, которая выше интриг и сплетен; надобно только ему уметь распорядиться.

Не завидуй: я написал об общине к Раден три листа, а тебе один; не расчел времени и теперь спешу.

№ 38

17 октября [1855 г.]. Симферополь

Погода здесь стоит еще чудесная. Ночи холодны и морозит, но днем жарко и сухо. Ничего еще нового здесь; войска непрестанно меняют позиции. Продолжаю заниматься по-прежнему, обливаясь водою в татарской бане и есть виноград. Стол у нас роскошный

^{*}*poissarde* — торговка, грубая женщина.

по милости д-ра Тарасова, который живет с нами и имеет своего повара. Вино, сигары и проч., посланное от тебя, получил все сполна. Коле посылаю письмо, которое оттянуло у меня время и от твоего письма; да ты за это не рассердишься.

Обермиллер пишет из Николаева — тоже ничего нового. Корабли стоят около, но еще покуда, после взятия Кинбурнской косы, ничего не предпринимают. Северную сторону бомбардируют слегка, так что мало раненых, но мы еще здесь и со старыми ранеными не умеем справляться, все еще 2000 слишком.

Наконец, Стахович уезжает, и Хитрово делается старейшею; это — не Стахович; каждый вечер она и Карцева приходят ко мне, и мы вводим всевозможные крючки, чтобы ловить госпитальных воров; Карцева просто неутомима, день и ночь в госпитале; и варит для больных, и перевязывает, и сама делает все, и всякий день от меня выходит с новыми распоряжениями. Несмотря на то, еще мы не успели поймать, отчего куриный суп, в который на 360 человек кладется 90 кур, таким выходит, что на вкус не куриный, а крупой одной действует, тогда как сестры варят меньшее количество и меньше кур кладут, а вкус лучше; уже мы и котлы запечатывали, все не помогает, а надобно подкараулить; право, жалко смотреть; дают такое количество, что можно бы было чудесно кормить, а больные почти не едят суп.

Прощай, моя душка. Твой.

Отошлю 21 октября.

20 октября

Наконец, Стахович с первым отделением сестер уезжает сегодня. Теперь я еще более чем прежде, убежден, что женщины между собой ужиться не могут; нельзя себе представить эту сеть интриг и смут, которые господствовали до сих пор в общине; когда я теперь разобрал всё в подробности, то я ужаснулся. Не знаю, что вперед будет; но я вижу теперь, по крайней мере, что есть сестры, которые действительно одушевлены желанием исполнять свои обязанности и достаточно просвещенны, чтобы понять их святое назначение.

Не знаю, довольна ли велик[ая] княж[иня] или нет, но я ей через Раден высказал всю правду и написал, как я смотрю на общину. Шутить такими вещами я не намерен; для виду делать только так же не гожусь; итак, если выбор вел[икой] кн[язини] пал на меня, то она должна была знать, с кем имеет дело. Теперь

покуда так идет в общине, что любо смотреть. Карцева день и ночь в госпитале. Хитрово — не Стахович; сама ходит на дежурство; не стыдится скатывать бинты и перевязывать больных и не величает себя превосходительством, как Стахович; за то и не будет называться, и не хочет быть главной начальницей общины, а просто старейшей сестрою. Поговори об этом с Раден и узнай, как она думает.

Мне бы не хотелось, чтобы мои заботы об общине, в которой я вижу прекрасное будущее, остались втуне. Если хотят не *быть*, а только казаться, то пусть ищут другого, а я не перерожусь [...].

Получил сейчас твое письмо (20 окт[ября]) от 11 окт[ября]. На дворе такая жара, как в июле месяце.

№ 39

Симферополь. 28 октября [1855 г.]

Сегодня сюда ожидают государя, и все в ужасном движении; по улицам скачут и бегают; фонари зажигаются, караульные расставляются; неизвестно, сколько времени он здесь пробудет, куда отсюда поедет. Горчаков уже здесь. Все мои представления о госпиталях и т. п., которые до сих пор не были исполнены и лежали в главной квартире, вдруг явились сюда на сцену, по крайней мере, на бумаге. Чуток русский человек; посмотрим, что дальше будет.

Община, слава Богу, пошла на лад, как нельзя лучше, после отъезда этой, которая так долго величалась главной начальницей. После молебна прошлое воскресенье я представил сестрам их старейшую сестру (я предложил вел[икой] княг[ине] уничтожить чиновническое имя — главной начальницы, а называть; просто старейшею сестрой) Хитрово и просил их жить в мире и согласии, уверяя, что отныне дела общины будут решаться без лицепрятия и по полной справедливости старейшею вместе с духовным пастырем, и с другими старшими сестрами и мною, разумеется, покуда я здесь, — коллегиально.

Погода здесь до сегодня стояла превосходная. Вчера начался ветер и ночью легкий мороз, но днем на солнце все еще тепло и жарко. Виноград начинает исчезать. Окачиваться продолжаю по-прежнему, но не в татарской, а в русской бане. О неприятеле ничего не слышать, как будто бы здесь его и не было; и он и мы в полном бездействии; раненых, исключая старых, почти нет, но больных много: всё поносы и лихорадки.

О киевском имении напиши поскорей в подробности всё, что знаешь, и особливо адрес, куда я должен прибыть, в самый ли Киев, или в другое место, и где могу встретиться с Витгенштейном. Если Бог даст, буду жив и здоров, то через месяц выеду отсюда; а покуда, после отъезда государя, поеду в Перекоп, возвращусь назад, отправлюсь в Бахчисарай, заеду на Северную сторону Севастополя и потом приеду опять в Симферополь, а отсюда уже отправлюсь далее в Россию осматривать по дороге госпитали. Ты же письма твои все адресуй до того, т. е. до конца ноября, все в Симферополь.

О политических делах, о том, что делается вне Симферополя, мы ничего не слышим и ничего не читаем, да и нечего читать, потому что, верно, ничего хорошего не начитаешь. Только то слышно, что Николаев порядочно укрепили, а неприятельские суда после занятия Кинбурна удалились, оставив Херсон в покое; в Николаев канонерские лодки пробовали было, ворваться, но им не удалось. *По бумагам*, у Горчакова в Крыму 260 000 да вне Крыма слишком 400 000, так что на бумаге и на жалованье до 700 000, а много ли на деле, одному Богу известно. 700 000 счесть — не безделица, и 200 человек начнешь считать, так как раз ошибешься. Зимой здесь, вероятно, ничего особенного не будет, разве где-нибудь на Азовском море, которое замерзает. Сегодня за мной прислал Горчаков и советовался со мной о своих глазах, уверяя, что он уже стар и плохо видит; не хочет ли махнуть отсюда в отставку; не худо бы было; будет с него, погостил довольно.

Брат Шульца на позиции и вчера писал ко мне о каком-то вшивом порошке.

Здесь все еще до 11 000 больных и тысячи две раненых, которые со дня на день уменьшаются, так что скоро мне здесь мало останется дела. По вечерам у меня ежедневно конгресс старших сестер, которые приходят ко мне с различными донесениями о госпиталиях.

Бумаг моих и книг без меня не выдавай никому.

№ 40

Симферополь. 4 ноября [1855 г.]

Недели через две я начну уже объезжать крымские госпитали прежде, чем выеду отсюда.

Поеду ли через Киев, будет зависеть от того, какое уведомление получу от тебя об имении, т. е. введен ли Витгенштейн уже во владение и пришлешь ли мне верный адрес, иначе делать крюк для нерешенного дела невесело, тем более что недавно еще в Киевской или Подольской губернии, как мне сказывали, был бунт крестьян против помещиков.

Государь был здесь несколько часов, осмотрел некоторые госпитали, но я его не видал, потому что оставался в той части госпиталей (их здесь 52), где обходил Мих[аил] Николаевич, а мне, в моем пальто казалось неприличным тесниться между мундирными, да и сестры Общины помещены только в том отделении, где я встретил великого князя. Государь хотел остаться всем довольным и остался, хотя многое не так хорошо, как кажется.

Погода стоит уже с неделю сухая, ясная, но ветреная и очень холодная, и больные забнут жестоко в бараках и госпитальных шатрах; раненых новых совсем нет, потому что почти совсем не дерутся; но больных очень много; сюда прибывает по 500 в сутки. Перекоп весь запружен больными из Гренадерского корпуса, и вывоз делается с каждым днем труднее; я беспрестанно отписываюсь с главнокомандующим; и на бумаге все идет, как нельзя лучше, но не на деле.

Из последнего твоего письма я вижу, что ты совершенно не-исправимая особа: спокойствие духа и полная доверенность к себе и ко мне у тебя еще не существует [...].

Здесь все тихо, новостей никаких нет; после отъезда государя осталось все, как было. Жители Симферополя успокоились и надеются провести зиму здесь, а то, было, они уже были наготове дать тягу.

Бог даст, к рождеству Христову, а может быть и прежде, мы увидимся; все зависеть будет оттого, каковы будут дороги и по какому направлению я поеду; больные теперь раскиданы по разным направлениям, и я еще не решился, куда ехать и по какому маршруту.

Кланяйся всем нашим. Поцелуй Машу и Колю. Благослови и расцелуй детей [...]. Напиши мне адрес Анны Ивановны. Прощай, моя милая душка. Господь с вами всеми. Твой.

№ 41

11 ноября [1855 г.]. Симферополь

Сегодня возвратился из Перекопа, где оставался два дня и смотрел госпитали, заваленные больными из Гренадерского кор-

пуса. С этой же почтой посылаю письмо министру о том, что выезжаю отсюда 1 декабря и поеду на Херсон, Николаев, а может быть, и Киев, если до того получу от тебя что-нибудь более положительного об имении Витгенштейна, как то: адрес, к кому и где отнестись по приезде в Киев и т. п.

Об уплате Сартори писал тоже к Пеликану.

Здесь начались холода, сегодня вода на один вершок подмерзла; по дороге в Перекоп было порядочно холодно, так что я заказал себе крымский тулуп из смушек; хорошо, что, по тайней мере, хотя грязи нет.

Мне случайно в эту минуту попало твое письмо от 25 сентября, где ты пишешь про киевское имение и говоришь, что «напиши твое решение, и тогда будет дело в шляпе». Не знаю, тех ли ты мыслей 11 ноября, как 25 сентября. Витгенштейн уже не раз надувался и тебя надувал.

Сейчас получил твое письмо от 30 октября. Вижу, что об имении князя и думать не должно; с ним, известно, каши не сваришь; подумай, поговори и справься получше о рязанском; авось из этого что-нибудь выйдет.

Скажи Сартори, чтобы он сам пошел к Пеликану и сказал ему, что я и камни и оттиски его видел и потому в выдаче денег затрудняться не следует.

О приезде государя сюда я уже, кажется, писал; я не успел его видеть; он не был в том отделении госпиталя, где находились сестры, а я хотел именно там оставаться на случай.

Кланяйся всем нашим [].

Здесь нового ничего нет. Все, как было, по-прежнему. Слухи разнеслись в Перекопе, что неприятель из Евпатории сел на суда; а на Северной стороне четыре недели, как не слышно ни одного выстрела.

№ 42

18 ноября [1855 г.]. Симферополь

Кажется, уже предпоследнее письмо, моя несравненная Саша; но ответа на него уже не получу; кончаю здесь свои дела; делал, что мог; много ли сделал, пусть Бог судит. Поеду на Херсон, Николаев и Кременчуг; на Киев поеду ли, не знаю, потому что ничего верного от тебя не получил. Тулуп из смушек готов; дела общины приведены, сколько можно, в порядок; транспортное

отделение устроено кое-как; раненых осталось уже очень немного; донесения, требования, отчеты в штаб и главнокомандующему почти все переписаны; грязь уже по колена; пора в дорогу.

Сегодня сильный мороз; мы и неприятель в полном бездействии; на будущей неделе, написав к тебе последнее письмо, отправляюсь в Бахчисарай для последнего свидания и последних переговоров. Дай только Бог, чтобы ты и дети были у меня живы, здоровы и веселы, тогда и я и жив и весел.

Нового решительно ничего нет, и я пишу только потому, что дал тебе слово писать; напиши Анне Ивановне, чтобы она осталась в Москве в гостинице Торлецкого на железной дороге ее адрес, чтобы я мог ее найти [...].

Прощай, мой ангел. Будь здорова и покойна. Твой, как всегда.

№ 43

Симферополь. 25 ноября [1855 г.]

Меня утратило твое последнее письмо; ты что-то захирела, моя душка; ради Бога, если Шмидт предлагал, дай себя исследовать; в этих вещах, чем скорее, тем лучше. Шмидт понапрасну не предложил бы; что ты называешь боком, что за опухоль, про которую ты прежде совсем не писала, и почему ты не попросила Шмидта мне написать две строчки о твоей болезни; все это меня тревожит; напиши, по крайней мере, в Москву, в гостиницу Торлецкого у Красных ворот, чтобы я хоть там узнал еще. Я выеду отсюда 1 декабря и потащусь через Херсон и Николаев в Екатеринослав.

Нового здесь ничего нет. На этих днях опять несколько дней бомбардировали Северную сторону; полки уходят из Крыма в Россию формироваться; французы выстроили себе бараки деревянные на зиму; драки нигде нет; но что-то будет весною, где-то опять загорится война, уже не вблизи ли Петербурга: Canrobert, пишут, в Швеции. Я поеду пред моим отъездом на несколько дней в Бахчисарай и заеду на Северную сторону Севастополя; больше писать не буду, а разве уже напишу из Москвы.

Будь здорова, моя душка, заботься о своем здоровье. Ты — моя жизнь, ведь ты это знаешь.

Детей обними, поцелуй и благослови. Кланяйся всем. Твой.

№ 44

Симферополь. 2 декабря [1855 г.]

Завтра я выезжаю. Был на прощанье на этих днях в Бахчисарае, на Бельбеке и на Северной стороне Севастополя. Смотрел на грустный, полуразрушенный и закопченный город. Вся Северная изрыта бомбами, которые неприятель бросал сюда, без всякого, впрочем, вреда, целый месяц. Нет аршина земли, где не было бы огромных ям и не лежало огромных отломков бомб; теперь почти совсем не стреляют; движение в городе мало заметно; мы постреливаем, но, кажется, также без толку.

Фураж здесь опять жестоко вздорожал; еще более сахар; фунт стоит уже 50 коп. сер. и то не продают более трех фунтов; пуд сена стоит один рубль сер., да и то трудно достать; больных солдат множество, а полушубков еще мало; дороги опять испортились, и лошади начинают падать; тоже и тоже.

Я ожидаю от тебя письма в Москву по адресу, который я написал, в гостиницу Торлецкого; напиши в нем, как ты себя чувствуешь, здорова ли ты, мой душенька. Ради Бога, береги себя и детей. Я пробуду дня по два или по одному в Херсоне, Николаеве, Харькове, Екатеринославе и Москве. Из Москвы, Бог даст, еще напишу, чтобы тебя приготовить к приезду [...].